

ФРИДРИХ НИЦШЕ

О ВЛАСТИ

Versuch einer
Umwertung aller Werte



ВЛАСТЬ:
ИСКУССТВО ПРАВИТЬ МИРОМ

Власть: искусство править миром

Фридрих Ницше

О власти

«Издательство АСТ»

1886—1888

УДК 1(091)(430)
ББК 87.3(4Гем)

Ницше Ф. В.

О власти / Ф. В. Ницше — «Издательство АСТ», 1886—
1888 — (Власть: искусство править миром)

ISBN 978-5-17-104140-3

Эта книга великого немецкого философа Фридриха Ницше (1844–1900) не была завершена им самим. В свет она вышла в реконструкции, предпринятой его сестрой Элизабет Фёрстер-Ницше и Петером Гастом уже после смерти философа. Неоднозначность оценок получившегося произведения способствует глубокому и вдумчивому изучению заметок Ницше, оказавших влияние на развитие философии и истории XX в. Издание представляет собой полный текст книги «Воля к власти» и предназначено для специалистов и широкого круга читателей. Книга также издавалась под названием "Воля к власти" В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 1(091)(430)

ББК 87.3(4Гем)

ISBN 978-5-17-104140-3

© Ницше Ф. В., 1886—1888
© Издательство АСТ, 1886—1888

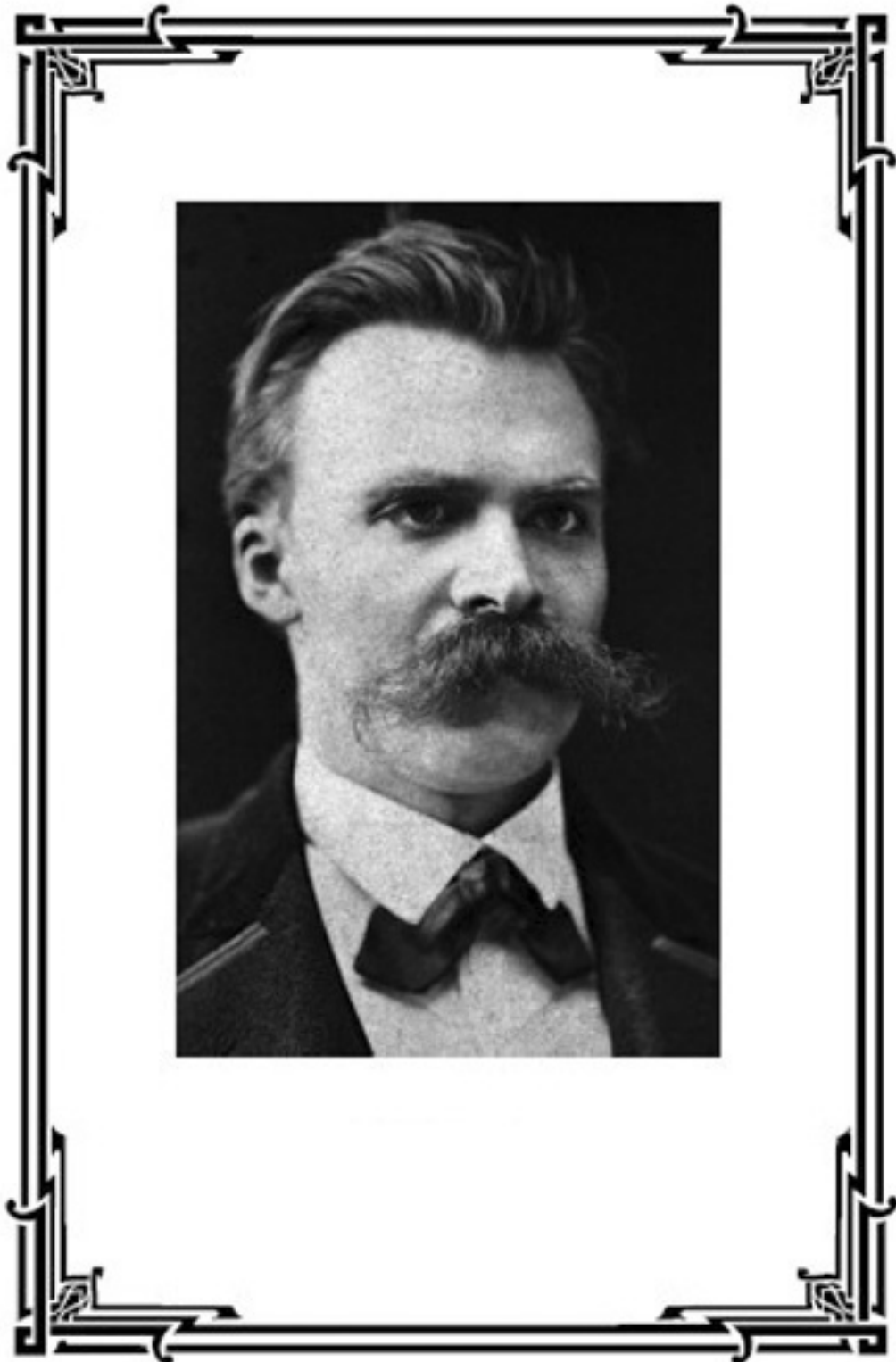
Содержание

Введение	7
Предисловие	15
Книга первая	16
К плану	16
I. Нигилизм	17
1. Нигилизм как следствие бывшего до сих пор в ходу толкования ценности бытия	17
2. Дальнейшие причины нигилизма	22
3. Нигилистическое движение как выражение декаданса	25
4. Кризис: нигилизм и идея «возвращения»	31
II. К истории европейского нигилизма	34
А. Современное омрачение	34
В. Последние века	40
С. Признаки подъема сил	47
Книга вторая	55
I. Критика религии	55
1. К возникновению религии	56
2. К истории христианства	63
3. Христианский идеал	80
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Фридрих Ницше

О власти

Friedrich Wilhelm Nietzsche
Der Wille zur Macht
Versuch einer Umwertung aller Werte



Фридрих Ницше

1844 – 1900

*** * ***

Все права защищены. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© Рудницкий М.Л., перевод на русский язык

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2018

Введение

Еще весной 1883 года, когда мы с братом были в Риме, он говорил, что намерен, как только окончит «Заратустру», написать свое главное теоретико-философское сочинение в прозе; когда же осенью 1884 года в Цюрихе я напомнила ему этот разговор и спросила о положении дела, он таинственно улыбнулся и намекнул, что пребывание в Энгадине было в этом отношении весьма плодотворно. Мы уже знаем из введения к восьмому тому, как велико было значение этого лета в деле разработки его главного прозаического труда. Однако нет никаких оснований думать, что основные мысли этого произведения возникли лишь в ту пору; нет, они уже полностью в поэтической форме содержатся в «Заратустре»; это совершенно ясно из того, что наброски и планы, относящиеся к концу 1882 года, то есть ко времени до возникновения первой части «Заратустры», имеют весьма большое сходство с идейным содержанием «Воли к власти».

Но само собой разумеется, что мир новых мыслей не мог быть исчерпан в «Заратустре»; он требовал еще и отдельного теоретико-философского прозаического изложения, продолжая в то же время из года в год расти и становиться отчетливее. Мы встречаемся поэтому в планах, относящихся к лету 1884 года, все с теми же проблемами, что и в «Заратустре», а позднее в «Воле к власти». Все, что им было написано с этого времени, представляет лишь дальнейшее выяснение и изображение этих основных мыслей; так что о «Воле к власти» можно, пожалуй, сказать то же, что мой брат писал Якову Буркхардту по поводу «По ту сторону добра и зла», а именно, что в этом сочинении «говорится о тех же предметах, что и в „Заратустре“, но иначе, весьма иначе».

Что автор хотел переждать несколько лет (он говорит о шести и даже о десяти годах), прежде чем приступить к окончательной разработке этого огромного произведения, а пока собирал только драгоценные камни для стройки и занимался обширными подготовительными изысканиями по этому предмету, это – более чем понятно. Кроме того, из планов, относящихся к лету 1884 года, можно усмотреть, что он в то время еще колебался в вопросе, какую из главных своих мыслей выдвинуть на первый план и сделать средоточием этого произведения: вечное ли возвращение, или переоценку всех прежних высших ценностей, распорядок ли рангов вплоть до их вершины, сверхчеловека ли, или волю к власти как принцип жизни, роста и стремления к господству. Но с каждым годом он, по-видимому, все яснее сознавал, что необычайная сложность жизненной ткани лучше всего может найти свое выражение в «воле к власти».

Здесь уместно задаться вопросом: когда же собственно у философа впервые зародилась эта мысль о воле к власти как воплощенной воле к жизни. На подобные вопросы в высшей степени трудно дать ответ, так как у моего брата корни его главных мыслей всегда приходится искать в весьма отдаленном времени. Для него, как и для здорового, могучего дерева, нужны были долгие годы, прежде чем мысли его могли получить свою окончательную форму и ясные очертания, за исключением впрочем одной: вечного возвращения, которая предстала ему впервые летом 1881 года, а год спустя получила свое выражение. Быть может, мне будет позволено привести здесь одно воспоминание, которое может дать кое-какие указания относительно времени первого возникновения мысли о воле к власти.

Осенью 1885 года, перед тем как уехать с мужем в Парагвай, мы с братом предприняли целый ряд чудесных прогулок в окрестностях Наумбурга, чтобы повидать еще раз места, где протекло наше детство. Так, однажды мы бродили между Наумбургом и Пфуртою по возвышенностям, с которых открывался замечательный вид вдаль; в этот вечер освещение было особенно красиво: желтовато-красное небо было покрыто темными, черными облаками, сообщавшими всему окружающему какой-то странный колорит. Эта картина вызвала брата на заме-

чание, что облака эти напоминают ему один вечер из тех времен (1870), когда он был санитаром на театре войны (нейтральная Швейцария не позволяла профессору своего университета отправиться на войну в качестве солдата). Обучившись уходу за больными в Эрлангене, он получил от тамошнего комитета поручение отправиться в качестве уполномоченного и начальника санитарного отряда на поле битвы. Ему доверены были большие суммы и дан был ряд личных поручений: так что ему пришлось переезжать от лазарета к лазарету, от одной амбулатории к другой в районе военных действий, останавливаясь только для того, чтобы оказать помощь раненым и умирающим и принять от них их последнее прощание близким и родным. Что пришлось перенести за это время сострадательному сердцу моего брата – не поддается описанию, еще месяцы спустя ему слышались стоны и жалобные вопли несчастных раненых. В первые годы он почти не мог говорить об этом, и когда Роде однажды в моем присутствии жаловался, что так мало слышал от своего друга о пережитом им в бытность его санитаром, брат мой с выражением муки на лице заметил: «Об этом не надо говорить, это невозможно; нужно гнать от себя эти воспоминания!» И в тот осенний день, о котором я начала говорить, он рассказал мне только, как однажды вечером, после всех этих ужасных скитаний, он «с сердцем, почти разбитым состраданием» приехал в маленький городок, через который пролегла большая дорога. Когда он обогнул городскую стену и прошел несколько шагов вперед, он вдруг услышал шум и грохот, и мимо него, как сверкающая молниями туча, пронесся красивый кавалерийский полк, великолепный как выражение народного мужества и задора. Но вот стук и гром усиливаются, и за полком в стремительнейшем темпе несется его любимая полевая артиллерия и, ах, как больно было ему не иметь права вскочить на коня и быть вынужденным сложить руки стоять у этой стены! Напоследок шла пехота беглым шагом: глаза сверкали, ровный шаг звенел по крепкому грунту, как могучие удары молота. И когда все это шествие вихрем пронеслось мимо него в битву, быть может навстречу смерти, столь величественное в своей жизненной силе, в своем мужестве, рвущемся в бой, являя собой такое полное выражение расы, решившей победить, властвовать или погибнуть, «тогда я ясно почувствовал, сестра, – так закончил свой рассказ мой брат, – что сильнейшая и высшая воля к жизни находит свое выражение не в жалкой борьбе за существование, но в воле к битве, к власти и превосходству!» «Но, – продолжал он, немного помолчав и взглядываясь в пылающее вечернее небо, – я чувствовал также, как хорошо то, что Вотан влагает жестокое сердце в грудь вождей; как могли бы они иначе вынести страшную ответственность, посылая тысячи на смерть, чтобы тем привести к господству свой народ, а вместе с ним и себя». Многие, бесконечно многие пережили в то время нечто подобное, но глаза философа смотрят иначе, чем глаза остальных людей, и он извлекает новые познания из таких переживаний, которые ничего не дают другим. Насколько иным и несравненно более сложным должно было казаться ему столь превозносимое Шопенгауэром чувство сострадания, когда он впоследствии, возвращаясь мысленно к этим событиям, сопоставлял это чувство с представшим тогда его взору чудесным видением воли и жизни, битвы и мощи. В этой последней воле он видел такое душевное состояние, которое обеспечивает человеку полную гармонию его наиболее могущественных инстинктов, его совести и его идеалов; это состояние он усматривал не только в исполнителях такой воли к власти, но также и прежде всего в самом полководце. Быть может именно тогда впервые перед ним предстала проблема страшного и губительного влияния, которое может иметь сострадание, как некоторая слабость, в те высшие и труднейшие минуты, когда решается судьба народов, и насколько справедливо поэтому предоставление великому человеку, полководцу, права жертвовать людьми для достижения высших целей.

В какой глубокой захватывающей форме появляется впервые эта мысль о воле к власти в поэтических образах «Заратустры»; при чтении главы «О самообладании» во мне всегда встает тихое воспоминание об изображенных мною только что переживаниях, в особенности при следующих словах:

«Где я находил живое, там находил я и волю к власти; и даже в воле слуги – и там я находил волю стать владыкой».

«Что сильнейшему должно служить слабейшее, в этом слабейшее убеждается своей волей, стремящейся стать владыкой над еще слабейшим: одной лишь этой радости не согласно оно лишиться».

«И как меньшее отдается большему, чтобы самому властвовать над еще меньшим и радоваться о нем: так и самое великое в свою очередь отдает себя и могущества ради полагает жизнь свою».

«В том и самопожертвование высшего, что оно и отвага, и опасность, и игра в кости, где ставкой является смерть».

Весной 1885 года, по завершении четвертой части «Заратустры», мой брат, насколько можно судить по его заметкам, уже решил сделать волю к власти, как жизненный принцип, средоточием своей главной теоретико-философской работы. Нам попадаетея заглавие: «Воля к власти, толкование мирового процесса». Зимой 1885/86 года он собирался сначала написать на эту тему небольшое сочинение, к которому у нас имеется целый ряд набросков. Он называет его: «Воля к власти. Опыт нового миротолкования». Совершенно понятно, что он оставался в смущении перед необъятностью задачи – изобразить волю к власти в природе, жизни, обществе как волю к истине, религии, искусству, морали, проследив ее во всех ее отдаленнейших последствиях. Увы, как часто, вероятно, ему приходилось с отчаянием говорить себе: «Один! Всегда один! И один в этом огромном лесу, в этих дебрях!» И вот, чтобы хоть немного облегчить себе задачу и сделать ее обозримее, он снова и снова пробует разбить свой большой труд на более мелкие, менее объемистые трактаты. Так, весной 1886 года он набрасывает план десяти новых произведений, которые могли бы быть выпущены в свет в качестве новых «Несвоевременных размышлений».

Но во время своего пребывания в Лейпциге, в мае – июне 1886 года, в то время как он вел переговоры с издателем по поводу напечатания «По ту сторону», он пришел к окончательному решению, независимо от «По ту сторону», которое должно было представлять некоторое предуготовление к большому произведению (на самом же деле было отдельным куском этого последнего), – посвятить ближайшие годы целиком разработке и печатанию «Воли к власти». Я вправе, быть может, высказать предположение, что это пребывание (в мае – июне 1886 г.) в Лейпциге отняло у него последнюю надежду найти себе со товарищей и сотрудников для этой большой работы. Эта надежда на сотрудничество друзей, которая при слабости его глаз представлялась для него вдвойне соблазнительной и, несмотря на пережитые им крупные разочарования, постоянно вновь пробуждалась в нем, была от дней юности восторженной грезой его души, – грезой, которой не суждено было осуществиться. Он пишет:

«Проблемы, перед которыми я стоял, представлялись мне проблемами столь коренной важности, что мне почти каждый год по несколько раз представлялось, что мыслящие люди, которых я знакомил с этими проблемами, должны были бы из-за них отложить в сторону свою собственную работу и всецело посвятить себя моим задачам. То, что каждый раз в результате получалось, представляло такую комическую и жуткую противоположность тому, чего я ожидал, что я, старый знаток людей, стал стыдиться самого себя и был принужден снова и снова усваивать ту элементарную истину, что люди придают своим привычкам в сто тысяч раз больше важности, чем даже своим выгодам...»

Все дельные люди, бывшие его друзья и знакомые, казались погруженными в свои собственные работы; даже Петер Гаст, единственный помогавший ему друг, ставил все же главной задачей своей жизни и деятельности, согласно желаниям самого моего брата, занятие музыкой.

А полезны могли быть ему только наиболее способные из сотрудников. Тогда его охватила мучительная уверенность, что он никогда не найдет себе сотоварища для труднейших своих работ, что ему придется все, все делать одному и в абсолютном одиночестве совершать свой трудный путь. Летом 1886 года, во время чтения корректур «По ту сторону», которым брат занимался в Сильс-Мария, он пользовался каждым свободным часом для разборки накопившегося материала для предполагаемых четырех томов его главного сочинения.

Он свел воедино весь план своей колоссальной работы и наметил ход мыслей, охватывавший все произведение и в существенных своих чертах, за малыми изменениями, сохраненный им до конца. (Содержание третьей книги вошло впоследствии в четвертую, и вставлена была совершенно новая третья книга.) План, относящийся к лету 1886 года, гласит следующее:

«„Воля к власти“
Опыт переоценки всех ценностей
В четырех книгах

Книга первая: Наивысшая опасность (изображение нигилизма как неизбежного следствия прежних оценок). Огромные силы освобождения от оков: но они находятся в противоречии друг к другу; раскованные силы взаимно уничтожают себя. В демократическом строе общества, где всякий специалист, нет места для „зачем?“, „для кого?“. Нет сословия, в существовании которого многообразные формы страдания и гибели всех отдельных (обращение их жизни в некоторую функцию) находили бы свой смысл.

Вторая книга: Критика ценностей (логика и т. д.). Везде выставить на вид дисгармонию между идеалом и отдельными его условиями (например, честность у христиан, постоянно принужденных прибегать ко лжи).

Третья книга: Проблема законодателя (в ней история одиночества). Раскованные силы надо вновь связать, дабы они не уничтожали друг друга; открыть глаза на действительное умножение силы!

Четвертая книга: Молот. Какие свойства должны иметь люди, устанавливающие обратные ценности? Люди, которые обладают всеми свойствами современной души, но в то же время и достаточно сильны для возвращения этим свойствам полного здоровья; их средства для достижения этой задачи.

Сильс-Мария. Лето, 1886».

Было бы совершенно ошибочно, если бы мы вздумали предположить, что автор «Воли к власти» хотел дать в этом произведении свою систему. Мы знаем, как мало доверял он всяким системам, и как всегда считал он печальным признаком для философа, когда тот замораживал свои мысли в систему. «Систематик – это такой философ, – восклицает он, – который не хочет больше признавать, что дух его живет, что он подобно дереву мощно стремится вширь и ненасытно захватывает все окружающее – философ, который решительно не знает покоя, пока не выкроит из своего духа нечто безжизненное, нечто деревянное, четырехугольную глупость, „систему“».

Бесспорно, он желал изобразить в этом большом произведении свою философию, свое мировоззрение, но во всяком случае не как догму, но как предварительный регулятив для дальнейших исследований.

Осенью 1886 года брату пришлось прервать на несколько месяцев свою работу над «Волей к власти», так как он писал в это время предисловия для нового издания своих ранее появившихся сочинений, а также пятую книгу «Веселой науки», но в январе 1887 года все было готово к печати и отослано; он вернулся снова к работе над своим главным сочинением. Фев-

раль 1887 года принес с собой страшное землетрясение в Ницце, которое он пережил с замечательным спокойствием и присутствием духа. Он пишет по этому поводу Гасту 24 февраля 1887 года: «Любезный друг, быть может вас обеспокоили известия о нашем землетрясении; пишу вам два слова, чтобы сообщить вам по крайней мере, как дело обстоит относительно меня. Весь город переполнен людьми с потрясенными нервами, паника в отелях прямо невероятная. Этой ночью, около 2–3 часов, я сделал обход и навестил некоторых из своих добрых знакомых, которые на открытом воздухе, на скамейках или в пролетках надеялись избежать опасности. Сам я чувствую себя хорошо: страха не было ни минуты, – скорее очень много иронии!»

Ницца совершенно опустела после этого происшествия, что не помешало, однако, моему брату остаться там на все заранее намеченное им время, несмотря даже на повторение подземного удара. Его так мало затронули эти внешние обстоятельства, что он среди всех волнений, вызванных землетрясением в Ницце, невозмутимо продолжал комбинировать в своем уме основную свою работу и притом по нижеследующему плану:

«„Воля к власти“.
Опыт переоценки всех ценностей.
Первая книга.
Европейский нигилизм.
Вторая книга.
Критика существующих высших ценностей.
Третья книга.
Принцип новой оценки.
Четвертая книга.
Воспитание и дисциплина.
Набросано 17 марта 1887, Ницца».

Этот план, который по своему общему распорядку почти тождествен вышеприведенному, относящемуся к лету 1886-го, оставался в силе до конца зимы 1888 года. В заключительных замечаниях мы еще подробнее скажем о позднейших планах и отдельных фазах возникновения «Воли к власти».

Мы со своей стороны были принуждены положить в основу настоящего издания план от 17 марта 1887 года, ибо он был единственным, дававшим довольно ясные указания относительно конструкции произведения. Кроме того, общие точки зрения, намеченные в рубриках плана, оставляют самый широкий простор для размещения, сообразно его смыслу, имеющегося богатого материала, относящегося к другим планам. Этот план оказался особенно удобным для настоящего нового издания, благодаря ему многие главы связаны друг с другом совершенно последовательным ходом мыслей. Но естественно, что и теперь еще есть много пробелов, так что вдумчивый читатель сам принужден приложить руку к делу, чтобы достичь общего взгляда на целое. Предлагаемое произведение представляет в настоящем своем виде немаловажное преимущество: оно дает возможность в значительно большей степени, чем первое издание, заглянуть в духовную лабораторию автора. Мы как бы видим перед своими глазами возникновение мыслей и можем одновременно наблюдать, как беспристрастно мой брат проверяет свои собственные мысли, не пытаясь никогда скрывать от себя возможные слабые и недоказуемые стороны поставленных им проблем. Обстоятельство, с которой они кое-где трактуемы, автор в законченном произведении, быть может, устранил бы (хотя этого нельзя утверждать с уверенностью), для нас же она является большим преимуществом, так как дает нам возможность лучше проникнуть в ход его мыслей. Как много недоразумений может вызывать краткость изложения его мыслей, поучительным примером тому могут служить «Сумерки кумиров». Автор прямо называет «Сумерки кумиров» извлечением из «Воли к власти»; но как ошибочно была понята эта маленькая книжка, именно ввиду ее краткости! Читатели, по-

видимому, предположили, что эти основоположные новые мысли представляют собою просто беглые наброски; никто, по-видимому, и не подозревал, на какие широкие предварительные исследования они опирались. Будем надеяться, что настоящее новое издание «Воли к власти» даст об этом лучшее представление.

Число афоризмов в этом новом издании увеличено приблизительно на 570 номеров. При этом, конечно, попадаются повторения, но каждый раз с другим оттенком и в другой связи, что необыкновенно способствует уяснению мысли. Многим импровизациям и некоторым, так сказать, пробным постановкам вопросов и проблем вдумчивый читатель сумеет сам дать надлежащее толкование и сам попытается установить то или другое решение задачи. «Но прежде всего, – как говорит Петер Гаст, – он будет восхищен неисчерпаемостью ницшевского гения в обработке намеченных тем: как он все снова и снова кружит вокруг них, находя в них все более неожиданные стороны, и при этом умеет выразить их в словах, передающих их внутреннее существо».

Грандиозный труд, представлявшийся автору, остался неоконченным. Нам, издателям ницшевского архива, выпало на долю, по мере слабых наших сил, добросовестно собрать в одно целое, руководствуясь дошедшими до нас указаниями автора, драгоценные камни, заготовленные для стройки. Этого не удалось сделать тотчас при первом же издании в удобной для обозрения целого форме, и тяжело было тогда, вспоминая намерения автора, выпускать в свет этот труд в таком несовершенном виде. Быть может это новое, значительно дополненное издание вышло немного удачнее; но если представить себе, как собственная рука мастера работала бы этот огромный материал, с той же логической последовательностью, как, например, в «Генеалогии морали», пронизать его блеском своего несравненного стиля, – какое бы произведение мы бы имели теперь пред собою! И еще более усугубляет нашу печаль то, что мы из его личных набросков знаем, как он представлял себе выполнение своего главного философско-теоретического труда:

«К введению: мрачная уединенность и пустынность *Campana romana*¹. Терпение в неопределенном и неизвестном».

«Мое произведение должно содержать общий приговор над нашим столетием, над всей современностью, над достигнутой „цивилизацией“».

«Каждая книга есть завоевание, хватка – *tempo lento*² – до самого конца драматическая поза, наконец, катастрофа и внезапное искупление».

Нельзя без чувства глубокого волнения читать приводимую ниже обстоятельную заметку, в которой автор сам устанавливает для себя ту руководящую нить, которой он предполагает держаться при выполнении своей основной работы. Он облекает эти предначертания пока в форму афоризма и дает им заголовок: «Совершенная книга». Но чем дальше он подвигается в этом изложении своих предначертаний, тем заметнее становится, что речь идет о его собственной книге, и именно о том главном его произведении, в котором он вознамерился изобразить во всей полноте свою философию. Он пишет осенью 1887 года:

«Совершенная книга. Иметь в виду:

1. Форма, стиль. Идеальный монолог. Все, имеющее „ученый“ характер, скрыто в глубине. Все акценты глубокой страсти, заботы, а также слабостей, смягчений; солнечные места, короткое счастье, возвышенная веселость. Преодоление стремленья доказывать; абсолютно лично. Никакого „я“... Род мемуаров; наиболее абстрактные вещи в самой живой и жизненной, полной крови, форме. Вся история, как лично пережитая, результат личных страданий

¹ Римская Кампанья (лат.).

² Протяжно (итал., муз. термин).

(только так все будет правдой)... Как бы беседа духов; вызов, заклинание мертвых. Возможно больше видимого, определенного, данного на примере; но остерегаться вопросов настоящего дня. Избегать слов „аристократично, благородно“, и вообще всех слов, могущих вызвать предположение, что автор выводит на сцену самого себя. Не „описание“; все проблемы переведены на язык чувства, вплоть до страсти.

2. Коллекция выразительных слов. Предпочтение отдавать словам военным. Слова, замещающие философские термины: по возможности немецкие и отчеканенные в формулу. Изобразить все состояния наиболее духовных людей; так, чтобы охватить их ряд во всем произведении (состояния законодателя, искусителя, человека, принужденного к жертвоприношению, колеблющегося, великой ответственности, страдания от непознаваемости, страдания от необходимости казаться не тем, что ты есть, страдания от необходимости причинять другому боль, сладострастие разрушения).

3. Построить все произведение с расчетом на конечную катастрофу».

Я прибавлю еще несколько пояснений по поводу тем, трактуемых главным образом в первых двух книгах «Воли к власти»: нигилизма и морали. Известно, как неверно было понято отношение автора именно к этим двум материям.

Быть может, именно слова «нигилизм», «иммориализм», «неморальность» («нигилистично», «неморально») подали главным образом повод к недоразумению. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что нигилизм и нигилистично ничего не имеют общего с какой-либо политической партией, но обозначают то состояние, при котором отвергаются ценность и смысл жизни, а равным образом и всякие идеалы. Столь же мало общего имеют слова «иммориализм», «неморальность» с половой невоздержанностью и распущенностью, как то предположили пошлые, грубые и глупые люди, основываясь на том, что в обыденной жизни эти слова иногда употребляются в подобном смысле. Мой брат понимал под моралью «систему оценок, соприкасающуюся с нашими жизненными условиями». Против этой системы наших современных оценок, не находящих себе оправдания в данных физиологии и биологии, а потому противоречащих смыслу жизни, обращены его термины «иммориалист» и «неморальность». Быть может, было бы лучше, если бы он в этих целях установил и употреблял слова «амориализм» и «аморально», ибо несомненно много недоразумений было бы тем предотвращено. В общем же мне хотелось бы еще подчеркнуть, что критику наших современных моральных ценностей может себе позволить только такой высоко стоящий философ, как Ницше, который всем своим жизненным поведением столь ясно доказал, что он не только совершеннейшим образом осуществляет эти ценности, но стоит выше их, почему и имеет право поставить себе еще более высокую цель и еще более высокие требования. Подобные цели и проблемы – удел весьма немногих; во всяком случае для этого надо иметь, как он сам пишет: «Чистые руки, а не грязные лапы».

Но прежде всего я должна еще раз обратить внимание на то, что его философия имеет в виду распорядок рангов, а не индивидуалистическую мораль: «стадное понимание пусть и царит в стаде, но не переходит за пределы его». Но он не только говорит, что мы должны быть глубоко благодарны морали за то, что она совершила в течение тысячелетий, но он требует и безусловного признания святости бывшей до сего времени в ходу морали. Тот, кто желает стать выше ее, должен за то нести и страшную ответственность и доказать свое право на это незаурядными поступками. Петер Гаст пишет об этом: «Ницше проповедует только исключительным людям и предкам будущих исключительных людей. До народа ему нет дела; для народа тысячи „мыслителей“ в досталь излагали свои мысли, а для более редких почти никто. Правда, что косвенным путем, через посредство таких исключительных людей, дух Ницше проникнет и в массы и очистит когда-нибудь воздух от всего изнеживающего, ослабляющего, порочного в

нашей культуре. Ницше – нравственная сила первого ранга! Нравственнее, чем все, что ныне называет себя нравственным!»

Быть может, также слова «стадо», «стадное животное», «стадная мораль» могли вызвать неприятное впечатление; мой брат сам воспользовался случаем сказать по этому поводу кое-что в свое оправдание: «И сделал открытие, но это открытие не из приятных: оно унижительно для нашей гордости. Как бы мы ни считали себя свободными, мы свободные духом, ибо мы говорим здесь „между нами“, – но в нас также живет чувство, которое все еще оскорбляется, когда кто-нибудь причисляет человека к животным; поэтому с моей стороны представляется тяжким проступком и нуждается в оправдании, что я постоянно бываю принужден говорить о нас в терминах „стадо“ и „стадные инстинкты“».

Правда, он не считает нужным давать объяснения, почему он выбрал именно эти термины и так обильно пользуется ими; я думаю только потому, что сам он (хотя он шутливо и утверждает противное) не находил в этих словах ничего обидного: ведь выросли мы в религиозном кругу, а в этом кругу «стадо» и «пастух» употребляются без всякого связанного с ними унижительного смысла.

Да и вообще некоторые его выражения, которым он часто придавал совершенно новый смысл, неоднократно вызывали недоразумения, как, например, «злоба» и «злой». В обоих этих словах прежде слышался оттенок чего-то «коварного» и «дурного», между тем как он понимал под этим нечто жесткое, строгое, и вместе с тем заносчивое, но во всяком случае также и некоторый повышенный строй души. Поэтому он и пишет Брандесу: «Многие слова у меня пропитались совсем другими солями и для моего языка имеют совсем другой вкус, чем для моих читателей».

К сожалению, условия места принудили нас разделить «Волю к власти» на две части и притом не особенно удачно, так как меньшая часть третьей книги перешла при этом в десятый том. Но тома девятый и десятый так тесно связаны между собой по своему содержанию, что должны быть непременно прочитаны заодно; поэтому в конце концов безразлично, на каком делении остановиться.

*Элизабет Фёрстер-Ницше
Веймар, август 1906 г.*

Предисловие

1.

Великие предметы требуют, чтобы о них молчали или говорили величественно: то есть цинично и с непорочностью.

2.

То, о чем я повествую, это история ближайших двух столетий. Я описываю то, что надвигается, что теперь уже не может прийти в ином виде: появление нигилизма. Эту историю можно теперь уже рассказать, ибо сама необходимость приложила здесь свою руку к делу. Это будущее говорит уже в сотне признаков, это судьба повсюду возвещает о себе, к этой музыке будущего уже чутко прислушиваются все уши. Вся наша европейская культура уже с давних пор движется в какой-то пытке напряжения, растущей из столетия в столетие, и как бы направляется к катастрофе: беспокойно, насильственно, порывисто; подобно потоку, стремящемуся к своему исходу, не задумываясь, боясь задумываться.

3.

Говорящий здесь, наоборот, только и занят был до сих пор тем, что задумывался: как философ и отшельник по инстинкту, находивший свою выгоду в том, чтобы жить в стороне, вне движения, терпеть, не торопиться, уже блуждавший когда-то по каждому из лабиринтов будущего; как дух вещей птицы, обращающий назад свои взоры, когда он повествует о грядущем; как первый совершенный нигилист Европы, но уже переживший в себе до конца этот нигилизм, имеющий этот нигилизм за собой, вне себя.

4.

Ибо пусть не ошибаются относительно смысла заглавия, приданного этому Евангелию будущего. «Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей» – в этой формуле выражено некое противоборствующее движение по отношению к принципу и задаче, движение, которое когда-нибудь в будущем сменит вышесказанный совершенный нигилизм, но для которого он является предпосылкой, логической и психологической, которая может возникнуть исключительно после него и из него. Ибо почему появление нигилизма в данное время необходимо? Потому что все вещи, бывшие до сих пор в ходу ценности сами находят в нем свой последний выход; потому, что нигилизм есть до конца продуманная логика наших великих ценностей и идеалов, потому что нам нужно сначала пережить нигилизм, чтобы убедиться в том, какова в сущности была ценность этих «ценностей». Нам нужно когда-нибудь найти новые ценности.

Фридрих Ницше

Книга первая

Европейский нигилизм

(Перевод Е. Герцук)

К плану

Нигилизм стоит за дверями: откуда идет к нам этот самый жуткий из всех гостей?

1. Исходная точка в ошибочном указывании на «бедственное состояние общества», или «физиологическое вырождение», или, пожалуй, еще на испорченность, как на причины нигилизма. Нужда душевная, телесная, интеллектуальная; нужда сама по себе решительно не способна породить нигилизма (то есть радикальное отклонение ценности, смысла, желательности). Эти виды нужды претерпевают самые разнообразные истолкования, в то время, как в одном вполне определенном толковании – христианско-моральном заложен корень нигилизма.

2. Гибель христианства от его морали (она неотделима); эта мораль обращается против христианского Бога (чувство правдивости, высоко развитое христианством, начинает испытывать отвращение к фальши и изолганности всех христианских толкований мира и истории. Резкий поворот назад от «Бог есть истина» к фанатической вере «Все ложно». Буддизм дела).

3. Скепсис по отношению к морали является решающим. Падение морального миро-истолкования, не находящего себе более санкции, после того, как им была сделана попытка найти убежище в некоторой потусторонности: в последнем счете – нигилизм. «Все лишено смысла» (невозможность провести до конца толкование мира, на которое была потрачена огромная сила, вызывает сомнение, не ложны ли все вообще истолкования мира). Буддистская черта, стремление в ничто. (Индийский буддизм не имеет за собой коренного морального развития, поэтому в его нигилизме является только неопределенная мораль: бытие как наказание, комбинированное с бытием как заблуждением, следовательно заблуждение как наказание – моральная оценка). Философские попытки преодолеть «морального Бога» (Гегель, пантеизм). Преодоление народных идеалов: мудрец; святой; поэт. Антагонизм «истинного», «прекрасного» и «доброго».

4. Против «бессмысленности» с одной стороны, против моральных оценок с другой стороны: в какой мере вся наука и философия были до сих пор под властью моральных суждений? И не получается ли тут, в придачу, вражда со стороны науки или антинаучности? Критика спинозизма. В социалистических и позитивистических системах везде задержавшиеся христианские оценки. Недостает критики христианской морали.

5. Нигилистические следствия современного естествознания (рядом с попытками бегства в потустороннее). Как следствие занятия им – в конце концов саморазложение, поворот против себя, антинаучность. С Коперника человек катится от центра в экс.

6. Нигилистические следствия политического и экономического образа мыслей, где все «принципы» прямо могут быть отнесены к актерству: веяние посредственности, ничтожества, неискренности и т. д. Национализм. Анархизм и т. д. Наказание. Недостает искупляющего сословия и человека; недостает оправдывателей.

7. Нигилистические выводы «истории» и «практических историков», то есть романтиков. Положение искусства: абсолютная неоригинальность его положения в современном мире. Его помрачение. Так называемое олимпийство Гёте.

8. Искусство и приуготовление нигилизма: романтика (вагнеровское заключение «Нибелунгов»).

I. НИГИЛИЗМ

1. Нигилизм как следствие бывшего до сих пор в ходу толкования ценности бытия

2. Что обозначает нигилизм? – То, что высшие ценности теряют свою ценность. Нет цели. Нет ответа на вопрос «зачем?».

3. Радикальный нигилизм есть убеждение в абсолютной несостоятельности мира по отношению к высшим из признаваемых ценностей; к этому присоединяется сознание, что мы не имеем ни малейшего права признать какую-либо потусторонность или существование вещей в себе, которое было бы «божественным», воплощенной моралью.

Это сознание есть следствие возвращенной «правдивости»; следовательно, само оно – результат веры в мораль.

4. Какие преимущества представляла христианская моральная гипотеза?

1) Она придавала человеку абсолютную ценность, в противоположность его малости и случайности в потоке становления и исчезновения.

2) Она служила адвокатам Бога, оставляя за миром, несмотря на страдание и зло, характер совершенства, включая сюда и «свободу»: зло являлось полным смыслом.

3) Она полагала в человеке знание абсолютных ценностей и тем давала ему нечто важнейшее для адекватного познания.

4) Она охраняла человека от презрения к себе как к человеку, от восстания с его стороны на жизнь, от отчаяния в познании: она была средством сохранения.

In summa: мораль была великим средством для противодействия практическому и теоретическому нигилизму.

5. Но среди тех сил, которые взрастила мораль, была правдивость: она в конце концов обращается против морали, открывает ее телеологию, ее корыстное рассмотрение вещей, и вот постижение этой издавна вошедшей в плоть и кровь изолганности, от которой уже отчаялись отделаться, действует как стимул.

Мы констатируем теперь в себе потребности, насажденные долгой моральной интерпретацией, они представляются нам ниже потребностью в неправде; с другой стороны, с ними, по видимому, связана ценность, ради которой мы выносим жизнь. Этот антагонизм – не ценить того, что мы познаем, и не быть более вправе ценить ту ложь, в которой мы хотели бы себя уверить, – вызывает процесс разложения.

6. Антиномия вот в чем: поскольку мы верим в мораль, мы осуждаем бытие.

7. Высшие ценности, в служении которым должна была бы состоять жизнь человека, в особенности тогда, когда они предъявляют к нему самые тяжелые и дорого обходящиеся требования, эти социальные ценности – дабы усилить их звучание, как неких велений Божьих, – были воздвигнуты над человеком как «реальность», как надежда, как «истинный» и грядущий мир. Теперь, когда выясняется низменный источник этих ценностей, то и вселенная представляется нам обесцененной, «бессмысленной»... но это только переходное состояние.

8. Нигилистический вывод (вера в отсутствие ценностей) как следствие моральной оценки; эгоистическое ненавистно нам (даже при сознании невозможности неэгоистического); необходимость нам ненавистна (даже при сознании невозможности *liberum arbitrium*³ и «умопостигаемой свободы»).

³ Права на свободу (*лат.*).

Мы видим, что не достигаем той сферы, куда были вложены ценности, но тем самым та другая сфера, в которой мы живем, еще нимало не выиграла в ценности: напротив того, мы устали, ибо потеряли главное наше побуждение. «Доселе напрасно!»

9. Пессимизм как форма, предшествующая нигилизму.

10. Пессимизм как сила – в чем? В энергии его логики, как анархизм и нигилизм, как аналитика.

Пессимизм как упадок – в чем? Как изнеженность, как космополитическая сочувственность, как «tout comprendre»⁴ и историзм.

Критическая напряженность: крайности выступают вперед и получают перевес.

11. Логика пессимизма – что влечет ее к крайнему нигилизму? Понятие отсутствия ценности, отсутствия смысла: поскольку моральные оценки скрываются за всеми другими высокими ценностями.

Результат: моральные оценки суть обвинительные приговоры, отрицания, мораль есть отвращение от воли к бытию...

12. Падение космологических ценностей.

А.

Нигилизм как психологическое состояние должен будет наступить, во-первых, после поисков во всем совершающемся «смысла», которого в нем нет: ищущий в конце концов падает духом. Нигилизм является тогда осознанием долгого расточения сил, мукой «тщетности», неуверенностью, отсутствием возможности как-нибудь отдохнуть, на чем-нибудь еще успокоиться – стыдом перед самим собою, как будто самого себя слишком долго обманывал. Искомый смысл мог бы заключаться в следующем: «осуществление» некоего высшего нравственного канона во всем совершающемся, нравственный миропорядок; или рост любви и гармонии в отношении живых существ; или приближение к состоянию всеобщего счастья; или хотя бы устремление к состоянию всеобщего «ничто» – цель сама по себе есть уже некоторый смысл. Общее всем этим родам представлений – предположение, что нечто должно быть достигнуто самим процессом – и вот наступает сознание, что становлением ничего не достигается, ничего не обретается. Следовательно, разочарование в кажущейся цели становления как причина нигилизма: разочарование по отношению к вполне определенной цели, или вообще, сознание несостоятельности всех донныне существующих гипотез цели, охватывающих собой весь путь «развития» (человек более не соучастник, тем паче не средоточие становления).

Нигилизм как психологическое состояние наступает, во-вторых, тогда, когда во всем совершающемся и подо всем совершающимся предполагается некая цельность, система, даже организация: так что душа, жаждущая восхищения и благоговения, упивается общим представлением некоторой высшей формы власти и управления (если это душа логика, то достаточно уже абсолютной последовательности и реальной диалектики, чтобы примирить ее со всем). Какое-либо единство, какая-либо форма «монизма»: и как следствие этой веры – человек, чувствующий себя в тесной связи и глубокой зависимости от некоего бесконечно превышающего его целого – как бы *modus*⁵ божества. «Благо целого требует самопожертвования отдельного», и вдруг – такого «целого» нет! В сущности человек теряет веру в свою ценность, если через него не действует бесконечно ценное целое: иначе говоря, он создал такое целое, чтобы иметь возможность верить в свою собственную ценность.

Нигилизм как психологическое состояние имеет еще третью, и последнюю, форму. Если принять те два положения, что путем становления ничего не достигается и что под всем ста-

⁴ Все понять, всепонимание (*фр.*).

⁵ Образ, вид, переходящее свойство (*лат.*).

новлением нет такого великого единства, в котором индивид мог бы окончательно потонуть, как в стихии высшей ценности, то единственным исходом остается возможность определить весь этот мир становления как морок и измыслить в качестве истинного мира новый потусторонний нашему. Но как только человек распознает, что этот новый мир создан им только из психологических потребностей и что он на это не имел решительно никакого права, возникает последняя форма нигилизма, заключающая в себе неверие в метафизический мир, запрещающая себе веру в истинный мир. С этой точки зрения реальность становления признается единственной реальностью, и воспрещаются всякого рода окольные пути к скрытым мирам и ложным божествам, но, с другой стороны, этот мир, отрицать который уже более не хотят, становится невыносимым.

Что же в сущности произошло? Сознание отсутствия всякой ценности было достигнуто, когда стало ясным, что ни понятием «цели», ни понятием «единства», ни понятием «истины» не может быть истолкован общий характер бытия. Ничего этим не достигается и не приобретает, недостает всеобъемлющего единства во множестве совершающегося: характер бытия не «истинен», а ложен... в конце концов нет более основания убеждать себя в бытии истинного мира... Коротко говоря: категории «цели», «единства», «бытия», посредством которых мы сообщили миру ценность, снова изымаются нами, и мир кажется обесцененным.

В.

Положим, мы осознали, в какой мере нельзя более истолковывать мир посредством этих трех категорий и что вслед за этим признанием мир начинает утрачивать для нас свою ценность, в таком случае мы должны спросить себя, откуда берет начало наша вера в эти три категории: попробуем решить, нельзя ли отказать и им в нашей доверии! Если нам удастся обесценить эти три категории, то доказанная неприменимость их к целому перестанет быть основанием к тому, чтобы обесценивать это целое.

Результат: вера в категории разума есть причина нигилизма, – мы измеряли ценность мира категориями, которые относятся к чисто вымышленному миру.

Конечный результат: все ценности, посредством которых мы доньше сперва пытались сообщить миру ценность, а затем ввиду их неприменимости к нему обесценивали его, – все эти ценности, рассматриваемые психологически, суть результаты определенных утилитарных перспектив, имеющих в виду поддержание и усиление идеи человеческой власти, что ложно проецированы нами в существо вещей. Это все та же гиперболическая наивность человека: полагать себя смыслом и мерой ценности вещей.

13. Нигилизм представляет собой патологическое промежуточное состояние (патологична огромность обобщения, заключение о полном отсутствии смысла), в данном случае либо продуктивные силы не имеют еще надлежащей мощи, либо декаданс еще медлит и его вспомогательные средства еще не изобретены им.

Предпосылка этой гипотезы: нет никакой истины, нет абсолютных свойств вещей, нет «вещи в себе». Это само по себе только нигилизм и притом крайний. Он видит ценность вещей именно в том, что этим ценностям не соответствует и, вообще, не соответствует реальности, это лишь симптомы силы на стороне устанавливающих ценности, симптомы упрощения в целях жизни.

14. Ценности и их изменения стоят в связи с возрастанием силы лица, устанавливающего ценности. Степень неверия и допускаемой «свободы духа» мерило возрастания силы.

«Нигилизм» как идеал высшего могущества ума, избытка жизни, частью разрушительный, частью иронический.

15. Что есть вера? Как возникает она? Всякая вера есть признание чего-либо за истинное.

Крайней формой нигилизма был бы тот взгляд, что всякая вера, всякое признание чего-либо за истинное неизбежно ложно, ибо вовсе не существует истинного мира. Следовательно, это иллюзия перспективы, источник которой заключен в нас самих (поскольку мы постоянно нуждаемся в более узком, сокращенном, упрощенном мире). Мерилом наших сил служит то, в какой мере можем мы, не погибая от этого, признать эту иллюзорность и эту необходимость лжи.

Такой нигилизм, как отрицание истинного мира, бытия, мог бы быть божественным образом мысли.

16. Если мы и «разочарованные», то не по отношению к жизни, у нас лишь открылись глаза на «желательности» всех видов. С насмешливой злобой смотрим мы на то, что называется «идеалами», мы презираем себя лишь за то, что не всегда можем подавить в себе то нелепое движение чувства, которое называется идеализмом. Дурная привычка сильнее, нежели гнев разочаровавшегося.

17. В какой мере нигилизм Шопенгауэра все еще является следствием того же идеала, который создал христианский теизм? Степень уверенности по отношению к высшим объектам желаний, высшим ценностям, высшему совершенству была так велика, что философы исходили из нее *a priori*⁶, как из абсолютной уверенности: «Бог» – на вершине, как данная истина. «Уподобиться Богу», «слиться с Богом» – в продолжение тысячелетий это были самые наивные и убедительнейшие объекты желаний (но то, что убеждает, тем самым еще не становится истинным, оно только убедительно. Примечание для ослов).

Мы разучились признавать за этим строем идеалов также и персонифицированность, мы стали атеистами. Но разве мы отреклись от самого идеала? Последние метафизики, по существу дела, все еще именно в нем ищут истинную «реальность», «вещь в себе», по отношению к которой все остальное имеет лишь кажущееся существование. Но догматом их осталось то положение, что ввиду явного несоответствия нашего мира явлений сказанному идеалу, мир этот не есть «истинный» и даже в основе своей не восходит к тому метафизическому миру, как к своей причине. Безусловное, поскольку оно есть высшее совершенство, не может служить основой для всего условного. Шопенгауэру, который стремился доказать обратное, нужно было мыслить эту метафизическую основу как нечто противоположное идеалу, как «злую, слепую волю»; как таковая, она могла затем стать тем «являющимся», которое открывается в мире явлений. Но и этим путем он еще не отрекался от абсолютности идеала, он только нашел лазейку.

(Канту казалась необходимой гипотеза «умопостигаемой свободы», чтобы снять с *ens perfectum*⁷ ответственность за данный характер этого мира, одним словом, чтобы объяснить зло и грех: логика скандальная для философа.)

18. Самый общий признак современной эпохи: невероятная убыль достоинства человека в его собственных глазах. Долгое время он вообще средоточие и трагический герой бытия; затем он озабочен по меньшей мере тем, чтоб доказать свое родство с решающей и ценной в себе стороной бытия; так поступают все метафизики, желающие удержать достоинство человека верою в то, что моральные ценности суть кардинальные ценности. Кто расстается с Богом, тот тем крепче держится за веру в мораль.

19. Всякая исключительно моральная система ценностей (напр. буддийская) приводит к нигилизму: это грозит Европе! Думают обойтись одним морализмом, без религиозной основы; но это неизбежный путь к нигилизму. В религии отсутствует необходимость смотреть на нас самих как на творцов ценностей.

⁶ Независимо от опыта, до опыта (*лат.*).

⁷ Существующего совершенства (*лат.*).

20. Вопрос нигилизма «зачем?» ведет происхождение от нашей давней привычки, в силу которой цель казалась установленной, данной извне, как требование, именно неким сверхчеловеческим авторитетом. После того как мы разучились верить в этот авторитет, мы все еще, по старой привычке, ищем иного авторитета, который мог бы говорить с безусловностью и предписывать нам задачи и цели. Авторитет совести выступает теперь на первый план (чем мораль свободнее от богословия, тем она становится повелительнее) как возмещение утраты личного авторитета. Или авторитет разума.

Или общественный инстинкт (стадо). Или, наконец, «история» с неким имманентным духом, история, имеющая цель в себе, которой можно свободно отдаться. Мы хотели бы избежать необходимости воли, воления цели, риска самим ставить себе цель, хотели бы сложить с себя ответственность (мы приняли бы фатализм). В конце концов, вот оно счастье и, с некоторой долей тартюфства, счастье большинства.

Мы говорим себе:

- 1) определенная цель вовсе не нужна;
- 2) предусмотреть ее невозможно.

Как раз теперь, когда нужна воля, причем в высшей мере ее силы, она всего слабее и малодушнее. Абсолютное недоверие к организующей способности воли для целого.

21. Совершенный нигилист. Глаз нигилиста идеализирует в сторону безобразия, творит предательство по отношению к собственным воспоминаниям: он пренебрегает ими, дает им оставить его, осыпаться, он не ограждает их от той мертвенно-бледной окраски, которую бессилие разливает на все далекое и прошедшее. И то, чего нигилист не делает по отношению к себе самому, не делает он и по отношению к прошлому всего человечества: он пренебрегает им.

22. Нигилизм. Он может иметь двойное значение:

- a) Как знак повышенной мощи духа – активный нигилизм.
- b) Как падение и регресс мощи духа – пассивный нигилизм.

23. Нигилизм – естественное состояние.

Он может быть показателем силы: мощь духа способна так возрасти, что ныне существующие цели («убеждения», символы веры) перестанут соответствовать ей (верование, в общем, именно и выражает собой принудительность некоторых условий существования, подчинение авторитету таких условий, при которых человеческое существо благоденствует, растет, приобретает власть); с другой стороны, нигилизм показатель недостатка силы, способности вновь творчески поставить себе некую цель, спросить некое «зачем», обрести новую веру.

Максимум относительной силы он достигает как насилие, направленное на разрушение: как активный нигилизм.

Противоположностью его был бы усталый нигилизм, утративший наступательность; его знаменитейшая форма – буддизм, как пассивный нигилизм, как знамение слабости: сила духа может быть так утомлена, истощена, что все дотоле существовавшие цели и ценности более не соответствуют ей и уже не вызывают веры к себе, что синтез ценностей и целей (на котором покоится всякая мощная культура) распадается и отдельные ценности восстают одна на другую (разложение), что только все утешающее, целящее, успокаивающее, заглушающее выступает на передний план под разнообразными масками: религиозной или моральной, политической или эстетической и т. д.

24. Нигилизм есть не только размышление над «тщетностью!» и не только вера в то, что все достойно гибели: он сам помогает делу, сам губит. Это, пожалуй, и не логично, но нигилист не верит в необходимость быть логичным. Сие состояние сильных умов и воли: таковым же невозможно остановиться на «нет» как на отвлеченном приговоре, «нет» как деяние вытекает из их природы. То, что приговором объявляется не имеющим права на существование, вслед за тем уже действием приводится к несуществованию.

25. К генезису нигилиста. Лишь поздно является мужество признать то, что, собственно говоря, уже знаешь. Только недавно я признался себе в том, что до сих пор был нигилистом, та энергия и беззаботность, с которой я успешно подвигался в своем нигилизме, заслоняла передо мной этот основной факт. Когда идешь к какой-нибудь цели, то кажется невозможным, чтобы «бесцельность как таковая» была твоим основным догматом.

26. Пессимизм людей энергии: «Зачем?», являющееся после страшной борьбы, даже победы. Есть нечто, в тысячу раз более важное, чем вопрос о том, хорошо ли нам или плохо – таков основной инстинкт всех сильных натур, а отсюда и отношение к вопросу о том, хорошо ли или плохо другим. Одним словом, возможна некая цель, ради которой без колебания приносят человеческие жертвы, идут на все опасности, берут на себя все дурное, даже худшее: великая страсть.

2. Дальнейшие причины нигилизма

27. Причины нигилизма:

1) Не достает высшего вида человека, то есть того, неисчерпаемая плодотворность и мощь которого поддерживала в человечестве веру в человека. (Достаточно припомнить, чем мы обязаны Наполеону: почти всеми высшими надеждами этого столетия.)

2) Низший вид («стадо», «масса», «общество») разучился скромности и раздувает свои потребности до размеров космических и метафизических ценностей. Этим вся жизнь вульгаризуется: поскольку властвует именно масса, она тиранизирует исключения из нее, так что эти последние теряют веру в себя и становятся нигилистами.

Все попытки измыслить более высокие типы человека потерпели неудачу («романтик»; художник, философ и это несмотря на усилия Карлейля придать им высшие моральные ценности).

Противоборство высшим типам как результат.

Падение и ненадежность всех высших типов. Борьба против гения («народная поэзия» и т. д.). Сострадание к низшим и страждущим как масштаб величия души.

Нет философа, толкователя дела, не только излагателя его в другой форме.

28. Неполный нигилизм, его формы: мы живем среди них. Попытки избежать нигилизма, не переоценивая бывших до сего времени в ходу ценностей, приводят к обратному результату, обостряют проблему.

29. Способы одурманивать себя. В глубине сердца не знать, где исход? Пустота. Попытка преодолеть это состояние опьянением, опьянение, как музыка, опьянение, как жестокость в трагическом самоуслаждении гибелью благороднейшего, опьянение как слепое и мечтательное увлечение отдельными личностями и эпохами (как ненависть и т. д.). Попытка работать не задумываясь, в качестве орудия науки; уметь находить себе ряд маленьких наслаждений, между прочим и в деле познания (скромность по отношению к самому себе); отказ от обобщений, относящихся к самому себе, возвышающийся до некоторого пафоса; мистика, сладострастное наслаждение вечной пустотой; искусство «ради него самого» («Le fait»), «чистое познание» как наркотики против отвращения к самому себе, кое-какая постоянная работа, какой-нибудь маленький глупый фанатизм; все средства попеременно, болезнь, вызванная общей неумеренностью (распутство убивает удовольствие).

1) Слабость воли как результат.

2) Крайняя гордость и унижение от сознания своих мелких слабостей, ощущаемые благодаря контрасту.

30. Близится время, когда нам придется расплатиться за то, что целых два тысячелетия мы были христианами: мы потеряли устойчивость, которая давала нам возможность жить, мы до сих пор не в силах сообразить, куда нам направиться. Многого подвергаем самым проти-

воположным оценкам, с той степенью энергии, какую всегда возбуждала в человеке крайняя переоценка человека.

Теперь все насквозь лживо, все – «слово», все спутано или слабо, или чрезмерно:

a) Делается попытка некоторого рода земного решения вопроса, но в знакомом уже смысле, в смысле конечного торжества истины, любви, справедливости (социализм – «равенство личности»);

b) Равным образом совершается попытка удержать моральный идеал (с предоставлением первых мест как чему-то не связанному с эгоизмом, так и самоотреченности, отказу от воли);

c) Предпринимается даже попытка удержать «потустороннее», хотя бы только антилогически, но оно немедленно же истолковывается так, чтобы из него могло быть извлечено некоторого рода метафизическое утешение в старом стиле;

d) Пытаются вывести из совершающегося божественное водительство в старом стиле, нечто награждающее, карающее, воспитывающее, ведущее к лучшему порядку вещей;

e) Как и прежде верят в добро и зло, так что победа добра и уничтожение зла воспринимаются как некая задача (это характерно для англичан, типичный случай – плоский ум Джона Стюарта Милля);

f) Презрение к «естественности», к вожделению, к ego; попытка понять даже высшую духовность и искусство как следствие отречения от своей личности и как *désintéressement*⁸;

g) Церкви предоставляется право все еще вторгаться во все существенные переживания и главные моменты в жизни отдельного лица, чтобы дать им освящение, высший смысл: мы все еще имеем «христианское государство», «христианский брак».

31. Бывали более мыслящие и более насыщенные мыслью времена, чем наше, как, например, то время, когда явился Будда, тогда сам народ, после столетий старых споров между сектами, в конце концов столь же глубоко заблудился в ущельях философских мнений и учений, как некогда европейские народы в тонкостях религиозной догмы. «Литература» и пресса всего менее могут соблазнить нас быть высокого мнения о «духе» нашего времени: миллионы спиритов и христианство с гимнастическими упражнениями, ужасающими по своему безобразию, характерному для всех английских изобретений, дают нам лучшее тому подтверждение.

Европейский пессимизм еще только при своем начале – свидетельство против него самого – в нем еще нет той необычайной, исполненной тоски и стремления неподвижности взора, отражающего Ничто, которые он имел когда-то в Индии, в нем еще слишком много «деланного», а не «соделавшегося», слишком много пессимизма ученых и поэтов; мне кажется, что добрая часть в нем придумана и присочинена, «создана», но не есть «первооснова».

32. Критика бывшего до сих пор пессимизма. Отклонение эвдемонологических точек зрения как окончательного сведения к вопросу: какой это имеет смысл? Редукция омрачения.

Наш пессимизм: мир не имеет всей той ценности, которую мы в нем полагали, сама наша вера так повысила наши стремления к познанию, что мы не можем теперь не высказать этого. Прежде всего он является в связи с этим менее ценным, таким мы ощущаем его ближайшим образом, только в том смысле мы пессимисты, в каком твердо решили без всяких изворотов признаться себе в этой переоценке и перестать на старый лад успокаивать себя разными песнями и улаживать всяческой ложью.

Именно этим путем мы и обретаем тот пафос, который влечет нас на поиски новых ценностей. In summa: мир имеет, быть может, несравненно большую ценность, чем считалось, мы должны убедиться в наивности наших идеалов и увидеть в сознании, что давая миру наивысшее истолкование, не придали нашему человеческому существованию даже и умеренно соответствующей ему ценности.

⁸ Бескорыстие (*фр.*).

Что было обожествлено? Инстинкты ценности, господствовавшие в общине (то, что делало возможным ее дальнейшее существование).

Что было оклеветано? То, что обособляло высших людей от низших, стремления, раз-
верзающие пропасти.

33. Причины появления пессимизма заключаются в том, что:

1) самые могущественные и чреватые будущим инстинкты жизни до сих пор были оклеветаны, вследствие чего над жизнью нависло проклятие;

2) возрастающая храбрость и все более смелое недоверие человека к современному миру постигают неотделимость этих инстинктов от жизни и становятся лицом к лицу с жизнью;

3) процветают только посредственности, вовсе не сознающие этого конфликта, что более одаренные, напротив, вырождаются, и как продукт вырождения восстанавливают массы против себя, что, с другой стороны, посредственность, выставляя себя как цель и смысл жизни, вызывает негодование (что никто не может больше ответить на вопрос – зачем?);

4) измельчание, чувствительность к страданию, беспокойство, торопливость, суета постоянно возрастают, что подверженность всей этой сутолоке, так называемой «цивилизации», становится все легче, что единичные личности перед лицом этой ужасающей машины приходят в уныние и покоряются.

34. Современный пессимизм есть выражение бесполезности не мира и бытия вообще, но современного мира.

35. «Преобладание страдания над удовольствием» или обратное (гедонизм), оба эти учения уже сами по себе указывают путь к нигилизму.

Ибо здесь в обоих случаях не предполагается какого-либо иного последнего смысла, кроме явлений удовольствия или неудовольствия.

Но так говорит порода людей, уже не решающаяся более утверждать некую волю, намерение или смысл для всякого более здорового рода людей; вся ценность жизни не определяется одною лишь мерою этих второстепенных явлений. Возможен был бы перевес страдания и, несмотря на это, явили бы себя могучая воля, утверждение жизни, потребность в этом перевесе.

«Не стоит жить»; «покорность»; «какую цель имеют эти слезы?» – вот бессильный и сентиментальный образ мышления. «Un monstre gai vaut mieux qu'un sentimental ennuyeux»⁹.

36. Нигилист-философ убежден, что все совершающееся бессмысленно и напрасно; между тем не бессмысленному и напрасному бытию не должно быть. Но откуда это «не должно»? Откуда берется этот «смысл», эта мера? В сущности нигилист полагает, что лице-
зрение такого бесполезного, бесплодного бытия приводит в состояние неудовлетворенности, вызывает чувство душевной пустоты и отчаяния.

Такой вывод противоречит нашей утонченной чувствительности как философов. Это сводится в конце концов к следующей нелепой оценке: характер бытия должен доставлять удовольствие философу, раз это бытие желает быть таковым по праву.

Однако легко понять, что в пределах совершающегося бытия удовольствие и неудовольствие могут иметь лишь смысл средств, не говоря уже о том, что неизвестно еще, можем ли мы вообще усматривать «смысл», «цель» и не остается ли для нас неразрешимым вопрос о «бессмыслии» и о противоположности ему.

37. Развитие пессимизма в нигилизм. Извращение ценностей. Схоластика ценностей. Отрешенные, идеалистические ценности, вместо того, чтобы господствовать над действиями и руководить ими, обращаются с осуждением против действия.

⁹ Веселое чудовище стоит большего, чем сентиментальный зануда (*фр.*).

Противопоставления, занявшие место естественных ступеней и рангов. Ненависть к иерархизму. Противопоставления соответствуют эпохе господства черни, ибо они общедоступней.

Отвергнутый мир противопоставляется искусственно воздвигнутому «истинному, ценному». Наконец, делается открытие насчет того, из какого материала был построен «истинный мир», и нам остается один только «мир отвергнутый», и высшее разочарование в нем обосновывает его негодность.

Таким образом налицо нигилизм: остались одни осуждающие оценки, и ничего больше! Из этого вытекает проблема силы и слабости:

- 1) слабые гибнут от этого;
- 2) более сильные уничтожают то, что еще оставалось целым;
- 3) сильнейшие преодолевают осуждающие оценки.

Все это вместе взятое и составляет трагическую эпоху.

3. Нигилистическое движение как выражение декаданса

38. В последнее время много злоупотребляли случайным и во всех отношениях неподходящим словом: везде говорят о «пессимизме», идет борьба вокруг вопроса, на который должны найтись ответы, кто прав – пессимизм или оптимизм.

Не было понято то, что, казалось, лежало как на ладони, а именно, что пессимизм не проблема, а симптом; что это название [следует] заменить «нигилизмом»; что вопрос о том, что лучше, бытие или небытие, сам по себе уже болезнь, признак падения, идиосинкразия.

Нигилистическое движение есть лишь выражение физиологического декаданса.

39. Следует понять, что:

– всякого рода упадок и заболевание непрестанно принимали участие в работе создания общих оценок;

– в получивших господство оценках декаданс достиг даже некоторого перевеса;

– нам приходится бороться не только против реальных последствий всяческого современного ужаса вырождения, но что и весь дотоле проявившийся декаданс еще не сыграл своей роли, то есть продолжает жить.

Подобное общее отклонение человечества от своих коренных инстинктов, подобный общий декаданс в деле установления ценностей есть вопрос *par excellence*¹⁰, основная загадка, которую задает философу такое животное, как «человек».

40. Понятие «декаданса». Отпадение от целого отдельных его частей, упадок сами по себе еще не заслуживают осуждения, это необходимое следствие жизни, жизненного роста. Появление декаданса так же необходимо, как любое восхождение, и поступательное движение в жизни: не в нашей власти устранить его. Разум же хочет, напротив, чтобы за ним было признано данное право.

Позор для всех социалистических систематиков, что они думают, будто возможны условия и общественные группировки, при которых не будут больше расти пороки, болезни, преступления, проституция, нужда... Но ведь это значит осудить жизнь...

Не в воле общества оставаться молодым. И даже в полном своем расцвете оно выделяет всякие нечистоты и отбросы. Чем решительнее и отважнее действует общество, тем богаче оно неудачами и неудачниками, тем ближе оно к своему падению... От старости не спасешься учреждениями. И от болезни так же. И от порока.

41. Основной взгляд на сущность декаданса состоит в следующем: то, в чем доньше видели его причины, есть его следствия.

¹⁰ По преимуществу, по сути (*фр.*).

Это изменяет всю перспективу моральной проблемы.

Вся этическая борьба против порока, роскоши, преступления, даже против болезни представляется наивностью, оказывается излишней: нет «исправления» (против раскаяния).

Сам декаданс не есть что-то, с чем нужно бороться, он абсолютно необходим и присущ всякому народу и всякой эпохе. А вот с чем нужно всеми силами бороться, так это с занесением заразы в здоровые части организма.

Делается ли это? Делается как раз противоположное. Гуманность об этом только и заботится.

В каком отношении к этому основному биологическому вопросу стоят нынешние высшие ценности? Философия, религия, искусство и т. д.

(Средства лечения: например, милитаризм, начиная с Наполеона, который в цивилизации видел своего естественного врага.)

42. То, что доньше считалось причиной вырождения, есть следствие его. Но также и то, что почиталось лекарством против некоторых действий вырождения, то есть излечившиеся от него суть только особый тип выродившихся.

Следствия декаданса: порок – порочность; болезнь – болезненность; преступление – преступность; celibat – бесплодие; истерия – ослабление воли; алкоголизм; пессимизм; анархизм; распутство (также и духовное); клеветничество, интриганство, все сомнение, разрушительство.

43. К понятию «декаданса».

1) Скепсис есть одно из следствий декаданса; также и распутство мысли.

2) Порча нравов есть следствие декаданса (слабость воли, потребность сильных возбуждающих средств).

3) Методы лечения, психологические и моральные, не меняют хода декаданса, не задерживают его; действие их физиологически сводится к нулю. Не подлежит сомнению величайшая ничтожность этих мнимых «реактивов»; они суть формы наркоза против некоторых роковых явлений следствий; они не изгоняют тлетворный элемент; часто являясь геройскими попытками нейтрализовать декадента, довести до minimum'a приносимый вред.

4) Нигилизм не есть причина, а лишь логика декаданса.

5) «Хороший» и «дурной» суть только два типа декаданса, они неразрывны во всех основных феноменах.

6) Социальный вопрос есть следствие декаданса.

7) Болезни, и прежде всего болезни нервов и головы, суть показатели того, что отсутствует сила самосохранения, свойственная сильной натуре, за это говорит и крайняя возбудимость, вследствие которой удовольствие и неудовольствие становятся первенствующей проблемой.

44. Наиболее распространенные типы декаданса выражаются в том, что:

1) веря во взятые лекарства, избирают то, что ускоряет процесс истощения, сюда относится христианство (чтобы назвать самый примечательный случай ошибки инстинкта), сюда же относится и «прогресс»;

2) утрачивается сила сопротивления раздражениям, случай определяет собою все: переживания огрубляются, преувеличиваются до «чудовищных размеров», «обезличивание», разложение воли, сюда относится альтруистическая мораль, та, которая толкует о сострадании; наиболее существенное в ней – слабость личности, вследствие чего эта личность созвучна всему и вся и подобно чрезмерно натянутой струне дрожит непрерывно, крайняя возбудимость;

3) смешиваются причина и следствие: в декадансе не видят физиологического феномена, и в его следствиях усматривают истинную причину плохого самочувствия, сюда относится вся религиозная мораль;

4) жаждут такого состояния, в котором нет больше страдания, жизнь фактически воспринимается как причина всякого зла; бессознательные состояния (сон, потеря сознания) оцениваются несравненно выше сознательных; отсюда и методика.

45. К гигиене «слабых». Все, что делается в состоянии слабости, терпит неудачу. Отсюда вывод – ничего не делать. Но в том-то и беда, что именно сила отложить делание, не реагировать, под влиянием слабости пришла в наиболее болезненное состояние; что мы всего скорее, всего слепее реагируем именно тогда, когда совсем не следовало бы реагировать.

Сила какой-либо природы сказывается в задерживании реакции, в некоторой отсрочке ее: известного рода *αδιαφορία*¹¹ так же свойственна такой натуре, как слабости: связанность противодействия, внезапность, незадерживаемость «действия». Воля слаба, и рецепт, как охранить себя от глупостей, был бы таков: иметь сильную волю и ничего не делать, но это суть *contradictio*¹². Тут известное саморазрушение, инстинкт сохранения скомпрометирован. Слабый вредит сам себе... Это тип декаданса.

Действительно, имеет место огромное размышление над практическими приемами усвоения бесстрастия. Инстинкт в данном случае на верном пути, поскольку ничего не делать полезнее, чем делать что попало.

Вся практика орденов, отшельников, философов, факиров внушена той правильной оценкой, что человек приносит себе, пожалуй, больше всего пользы в том случае, когда ставит перед собой значительные препятствия к действию.

Облегчающие меры: абсолютное послушание, машинальная деятельность, разобщение с людьми и вещами, требующими немедленной решимости и действий.

46. Слабость воли: тут сравнение, которое может ввести в заблуждение. Ибо нет никакой воли, и, следовательно, нет ни сильной, ни слабой воли. Множественность и разорванность инстинктов, невнятность объединяющей их системы проявляется как «слабая воля»; координация же их под властью одного из них действует как «сильная воля»; в первом случае – колебание и недостаток устойчивости; во втором – ясность и определенность направления.

47. Наследственна не болезнь, а болезненность, бессилие в сопротивлении опасным и вредным нашествиям и т. д.; надломленная сила противодействия; выражаясь морально – покорность и смирение перед врагом.

Я спрашивал себя, нельзя ли сравнить все высшие ценности бывшей донны в ходу философии, морали и религии с ценностями ослабших, душевнобольных и неврастеников, являющих собой, хотя и в более слабой степени, то же зло...

Ценность всех болезненных состояний заключается в том, что они показывают, как бы через увеличительное стекло, известные нормальные, но в нормальном виде плохо различимые состояния.

Здоровье и болезнь не разнятся одно от другого по существу, как думают древние врачи и теперь еще некоторые современные практиканты. Не следует делать из них различные принципы и сущности, которые ссорились бы из-за живого организма и делали бы его местом своей борьбы. Это – глупость и пустая болтовня, ни к чему не пригодные. Фактически между этими двумя родами существования есть только различие в степени: преувеличение, диспропорция, дисгармония в соотношениях нормальных феноменов суть болезненное состояние (Клод Бернар).

Поскольку «зло» может быть рассматриваемо как преувеличение, дисгармония, диспропорция, постольку «добро» может быть, так сказать, предохраняющей диетой против опасности впасть в преувеличение, дисгармонию и нарушение пропорций.

Наследственная слабость как господствующее чувство причина высших ценностей.

¹¹ Нераздвоенность (*греч.*).

¹² Противоречивое суждение (*лат.*).

NB. Слабости желают: почему? В большинстве случаев потому, что слабость по необходимости приемлема.

Ослабление как задача: ослабление желаний, ощущений радости и неудовольствия, воли к власти, к чувству гордости, к желанию иметь и иметь как можно больше; ослабление как смирение; ослабление как вера; ослабление как отвращение и стыд перед всем естественным; как отрицание жизни, как болезнь и обычная слабость, ослабление как отказ от мести, от сопротивления, от вражды и гнева.

Неверный прием в преодолении слабости – стремиться победить ее не посредством *système fortifiant*¹³, но посредством какого-то оправдывания и морализирования, то есть какой-то интерпретации.

Смешение двух совершенно разных состояний, например: спокойствия силы, которое в сущности есть воздержание от реакций (тип богов, которых ничто не трогает), и спокойствие истощения, тупость, доходящая до анестезии. Все философски-аскетические приемы стремятся ко второму, но подразумевают в сущности первое, ибо они приписывают достигнутому состоянию такие свойства, как если бы было достигнуто божественное состояние.

48. Опаснейшее недоразумение. Существует понятие, которое, по-видимому, не допускает смешения, двоякого толкования: это «истощение». Истощение может быть благоприобретено, а может быть наследственно, и в том, и в другом случае оно меняет аспект вещей, ценность вещей.

В противоположность тому, кто из обилия, которое он являет собою и сам, ощущая его, помимо воли своей отдает вещам, и видя их полнее, могущественнее, чреватее будущим, так вот, в противоположность тому, кто во всяком случае может дарить, истощенный умаляет, загрязняет все, что он видит, он роняет ценность, он вреден.

Относительно этого, кажется, не может быть ошибки, между тем в истории мы видим тот ужасающий факт, что истощенных всегда смешивали с преисполненными жизнью, а преисполненных жизнью с вреднейшими.

Оскудевший жизнью, слабый, еще более обедняет жизнь; богатый жизнью, сильный, обогащает ее. Первый паразитирует, второй одаряет ее. Как же тут возможно смешение?..

Когда истощенный выступал с видом высшей активности и энергии (в моменты, когда вырождение вызывало эксцесс духовного или нервного разряжения), тогда его смешивали с богатым. Он возбуждал страх. Характерно, что и культ слабоумного всегда совпадает с культом богатого жизнью, могучего. Фанатик, одержимый, религиозный эпилептик, все эксцентричные люди воспринимались как высшие типы могущества, как боговдохновенные.

Такого рода сила, которая возбуждает страх, почиталась по преимуществу именно божественной, здесь был источник авторитета, ее истолковывали как мудрость, в ней видели, искали мудрость. Из этого развилась, почти везде, воля к «обожевлению», то есть к типичному вырождению духа, тела и нервов: попытка найти путь к высшему виду бытия.

Довести себя до болезни, до безумия, вызвать симптомы расстройства – это значило стать сильнее, сверхчеловечнее, ужаснее, мудрее. Воображали себя благодаря этому настолько богатыми мощью, чтобы иметь возможность отдавать часть ее. Повсюду, где люди были готовы к боготворению, они искали кого-нибудь, кто мог бы отдавать.

В этом случае источником заблуждения является хорошо известное состояние опьянения. Это последнее в высшей степени увеличивает чувство мощи, а следовательно, рассуждая наивно, и самую мощь. На высшей ступени власти должен был стоять самый опьяненный, эксцентричный (есть две исходных точки опьянения – необычайная полнота жизни и состояние болезненного питания мозга).

49. Приобретенное, а не унаследованное истощение:

¹³ Укрепляющая система (*фр.*).

а) недостаточность питания, часто от неведения в этом вопросе, например у ученых;

б) преждевременное эротическое развитие – по преимуществу бич французской молодежи, особенно парижан, вступающих из лицеев в жизнь уже развращенными и загрязненными и уже не могущими вырваться из цепи позорных склонностей, жалких и презренных в собственных глазах – галерников при всей их утонченности (впрочем, в большинстве случаев это уже симптом расового и фамильного декаданса, как всякая гипертрофированная чувствительность; сюда же следует отнести заразу, исходящую от среды, слепое подчинение влиянию среды также относится к декадансу);

с) алкоголизм, не как инстинкт, а как привычка, тупое подражание, трусливое или тщеславное приспособление к царящему режиму. Так, подумать только: какое благодеяние – еврей среди немцев! Немцы. О сколько тупости, о эти льняные головы, эти голубые глаза, отсутствие esprit в лице, словах, манерах, это ленивое потягивание, эта немецкая потребность в отдыхе, происходящая не от переутомления в работе, а от отвратительной возбужденности и перевозбужденности алкоголем.

50. Теория истощения. Порок, душевные больные (среди, например, артистов), преступники, анархисты – все это не угнетенные классы, но отбросы всех классов бывшего до сих пор общества.

Усмотрев, что все наши сословия и состояния проникнуты этими элементами, мы поняли, что современное общество не «общество», не «тело», но большой конгломерат чандалы, общество, утратившее силу извергать из себя вредные ему элементы.

Насколько от совместной жизни в течение долгих столетий болезненность проникает все глубже:

современная добродетель, современная духовность, наша наука – как
формы болезни

51. Состояние испорченности. Понять взаимную связь всех форм испорченности, и при этом не забыть христианской испорченности (Паскаль как тип); равным образом социалистически-коммунистической испорченности (она как следствие христианской) – с естественно-научной точки зрения высшая концепция общества представляется низшей в общественной иерархии; испорченность «потусторонности», как будто кроме действительного мира, мира становления, есть еще мир сущего.

Здесь не должно быть никакого соглашения: здесь надо вычищать, уничтожать, вести войну, – нужно еще поизвлечь отовсюду христиански-нигилистический масштаб оценки и бороться с ним, под какой бы маской она ни находилась: так например, – из теперешней социологии, из теперешней музыки, из теперешнего пессимизма (все формы христианского идеала ценности).

Либо то, либо другое истинно: быть истинным значит в данном случае способствовать повышению типа «человек».

Священники, пастыри душ, как негодные, недостойные формы существования. Все воспитание до сих пор беспомощно, неустойчиво, лишено надлежащей опоры и веса, носит на себе следы противоречия ценностей.

52. Не природа безнравственна, когда она без сострадания относится к дегенератам – наоборот, рост физиологического и морального зла в человеческом роде есть следствие болезненной и противоестественной морали. Чувствительность большинства людей болезненна и неестественна.

От чего зависит, что человечество испорчено в моральном и физиологическом отношении? – Тело гибнет, когда поражен какой-либо орган. Право альтруизма нельзя сводить на физиологию; столь же мало можно это делать и по отношению к праву на помощь, на одинаковую участь – это все премии для дегенератов и убогих.

Нет солидарности в обществе, где имеются неплодотворные, непродуктивные и разрушительные элементы, которые к тому же дадут еще более выродившееся, чем они сами, потомство.

53. Существует глубокое и совершенно неосознанное влияние декаданса даже на идеалы науки – вся наша социология служит доказательством этого положения. Ей можно поставить в упрек, что она знакома по опыту только с формой упадочного общества и неизбежно осуждена принимать свои собственные упадочные инстинкты за норму социологического суждения.

Клонящаяся к упадку жизнь современной Европы формулирует через эти суждения свои общественные идеалы, которые разительно похожи на идеалы старых, отживших рас.

Поэтому стадный инстинкт, завоевавший теперь верховенство, – представляет нечто в корне отличное от инстинкта аристократического общества – ведь от ценности единиц зависит то или другое значение суммы. Вся наша социология не знает другого инстинкта, кроме инстинкта стада, то есть суммированных нулей, где каждый ноль имеет «одинаковые права», где считается добродетелью быть нулем.

Оценка, с которой в настоящее время подходят к различным формам общества, во всех отношениях сходна с той, по которой миру придается большая ценность, чем войне, но это суждение антибиологично, оно само порождение декаданса жизни. Жизнь есть результат войны, само общество средство для войны. Господин Герберт Спенсер как биолог-декадент, таковым же является и как моралист (видя в победе альтруизма нечто желательное!!!).

54. Мне посчастливилось, после целых тысячелетий заблуждений и путаницы, снова найти дорогу, ведущую к некоторому да и некоторому нет.

Я учу говорить «нет» всему, что ослабляет, что истощает.

Я учу говорить «да» всему, что усиливает, что накапливает силы, что оправдывает чувство силы.

До сих пор никто не учил ни тому, ни другому – учили добродетели, самоотречению, состраданию, учили даже отрицанию жизни. Все это суть ценности истощенных.

Долгое размышление над физиологией истощения обратило меня к вопросу о том, насколько суждения истощенных проникли в мир общих ценностей.

Достигнутый мною результат был до невероятности неожиданным, даже для меня, успешного освоиться уже не с одним чуждым миром. Я открыл, что все высшие ценности, все, господствующие над человечеством, – по крайней мере над укрощенным человечеством – могут быть сведены к оценкам истощенных.

Из-под священных имен извлек я разрушительные тенденции – Богом назвали то, что ослабляет, учит слабости, заражает слабостью. я открыл, что «добрый человек» есть форма самоутверждения декаданса.

Добродетель сострадания, о которой еще Шопенгауэр говорил как о высшей, единственной и основной добродетели, – именно это сострадание признал я более опасным феноменом, нежели любой порок. Решительно идти наперекор родовому подбору и очищению вида от элементов упадка – вот что доньше считалось добродетелью *par excellence*.

Следует чтить рок, рок, говорящий слабому: «погибни!..»

Богом назвали противление року, порчу и разложение человечества. Не должно произносить всуе имя Божие.

Раса испорчена – не пороками своими, а неведением – она испорчена потому, что она истощение восприняла не как истощение, – ошибки в физиологии суть причины всех зол.

Добродетель есть наше великое недоразумение.

Проблема: как истощенные достигли того, чтоб стать законодателями ценностей? Или иначе: как достигли власти те, которые – последние?.. Как инстинкт зверя-человека стал вверх ногами?..

4. Кризис: нигилизм и идея «возвращения»

55. Крайние позиции сменяются не более умеренными, а опять же крайними, но обратными. Поэтому вера в абсолютную имморальность природы, в бесцельность и бессмысленность – психологически необходимый аффект, наступающий, когда утрачивается вера в Бога и нравственные основы миропорядка. Нигилизм возникает не потому, что отвращение к жизни теперь сильнее, чем раньше, но потому, что вообще является сомнение в том, могут ли иметь зло или даже жизнь какой-либо «смысл». Одна интерпретация погибла: но так как она считалась единственной интерпретацией, то нам и кажется ныне, будто нет никакого смысла в жизни вообще, будто все напрасно.

Однако остается еще доказать, что это «напрасно» определяет характер нынешнего нигилизма. Недоверие к нашей прежней оценке ценностей вырастает до вопроса: «Не служат ли все „ценности“ приманкой, затягивающей комедию, но не приводящей ее к какому-либо разрешению?» Длительность существования, при наличии этого «напрасно», без цели и без смысла, – вот наиболее парализующая мысль, особенно если человек, понимая, что над ним издеваются, все же не имеет силы оградить себя от этого.

Продумаем эту мысль в самой страшной ее форме – жизнь, как она есть, без смысла, без цели, но возвращающаяся неизбежно, без заключительного «ничто» – «вечный возврат». Это самая крайняя форма нигилизма: «ничто» («бессмысленное») – вечно!

Европейская форма буддизма – энергия знания и силы принуждает к такой вере. Это самая научная из всех возможных гипотез. Мы отрицаем конечные цели; если бы существование имело такую цель – она должна была бы быть уже достигнута.

Становится понятным, что здесь налицо стремление создать противоположение пантеизму, ибо утверждение «все совершенно, божественно, вечно» также навязывает веру в «вечное возвращение». Вопрос в том, стало ли невозможным вместе с моралью и это пантеистическое да, обращенное ко всем вещам? В сущности, преодолен ведь только моральный Бог. Есть ли смысл представлять себе бога «по ту сторону добра и зла?» Возможен ли пантеизм в таком смысле? Можно ли, изгнав из процесса представление цели, и несмотря на это, все же говорить «да» процессу? Это было бы так только в том случае, если бы в пределах самого процесса, в каждое мгновение его, что-нибудь достигалось – и всякий раз одно и то же. Спиноза достиг такой утверждающей точки зрения, поскольку каждое мгновение имеет свою логическую необходимость, и философ, с заложенным в основе его существа логическим инстинктом, торжественно приветствовал подобный миропорядок.

Но его случай только частный случай. Всякая коренная особенность, лежащая в основе всего совершающегося и проявляющаяся во всем совершающемся, должна была бы побудить человека, осознавшего ее как свою собственную особенность, торжественно благословить каждый миг мирового существования. Тогда все дело заключалось бы в том, чтобы радостно признать в себе самой благой и ценной эту свою особенность.

Мораль предохраняла от отчаяния и прыжка в «ничто» жизнь людей и сословий, притесняемых и угнетаемых именно людьми, ибо бессилие перед людьми, а не природой, вызывает наиболее отчаянное озлобление к жизни. Мораль относилась к властителям, насильникам, вообще к «господам» как к врагам, от которых необходимо защитить обыкновенного человека, то есть прежде всего поднять в нем мужество и силу. Мораль, следовательно, учила глубже всего ненавидеть и презирать то, что составляет характернейшую особенность властителей: их волю к власти. Эту мораль отменить, отвергнуть, разложить – значило бы в обратном смысле ценить и воспринимать этот столь ненавидимый инстинкт. Если бы страдающий, угнетенный человек потерял веру в свое право презирать волю к власти – он вступил бы в полосу самого безнадежного отчаяния. Но это было бы только в том случае, если бы эта черта лежала в самом

существо жизни, если бы выяснилось, что даже под личиной воли к морали скрывается «воля к власти», что сама его ненависть и презрение тоже особая «мощь-воля». Угнетенный понял бы, что стоит на одной почве со своим угнетателем и что перед ним у него нет ни преимущества, ни прав на высшее положение.

Скорее наоборот! Жизнь не имеет иных ценностей, кроме степени власти – если мы предположим, что сама жизнь есть воля к власти. Мораль ограждала неудачников, обездоленных от нигилизма, приписывая каждому бесконечную ценность, метафизическую ценность, и указывая им место в порядке, не совпадающем ни с мирской властью, ни с иерархией рангов – она учила подчинению, смирению и т. д. Если предположить, что вера в эту мораль погибнет, то неудачники утратят свое утешение – и погибнут тоже.

Гибель принимает здесь форму самообречения на гибель, в виде инстинктивного подбора всего того, что должно губить.

Вот симптомы этого саморазрушения неудачников: самовивисекция, отравление, опьянение, романтика, – и прежде всего – инстинктивное побуждение к поступкам, вызывающим смертельную вражду со стороны имеющих власть (как бы воспитание себе самому палачей), воля к разрушению как воля еще более глубоко заложенного инстинкта, инстинкта саморазрушения, устремления в «ничто».

Нигилизм – как симптом того, что неудачникам нет больше утешения, что они уничтожают, чтобы быть уничтоженными, что они, оторвавшись от морали, не имеют больше основания «покоряться своей судьбе», что они становятся на почву противоположного принципа и со своей стороны также хотят власти, принуждая властвующих быть их палачами. Это и есть европейская форма буддизма, осуществление «нет» после того, как всякое существование потеряло свой «смысл».

«Нужда» между тем не возросла: наоборот! «Бог, мораль, смирение» – служили средствами исцеления в самые страшные и бедственные времена – активный нигилизм выступает при сравнительно более благоприятно сложившихся условиях. Уже самое преодоление морали предполагает довольно высокий уровень духовной культуры, а она в свою очередь предполагает относительное благополучие. Известная духовная усталость от продолжительной борьбы философских мнений, доведенная до безнадежнейшего скептицизма по отношению к философии, указывает также отнюдь не на низкий уровень этих нигилистов. Стоит только вспомнить о той обстановке, в которой выступил Будда. Учение о вечном возвращении должно было бы иметь некоторые научные предпосылки (подобно тем, какие имело учение Будды, напр. понятие о причинности и т. д.).

Что же означает теперь – «неудачник»? Прежде всего физиологическую неудачу, – а уже не политическую. Самый нездоровый род людей в Европе (во всех сословиях) – почва для этого нигилизма: они воспримут веру в вечное возвращение как проклятие, и пораженный этим проклятием человек не остановится ни перед какими действиями – полагая не пассивно сгнуться, но довести до гибели все, что в такой степени бессмысленно и бесцельно – хотя в сущности это только род судороги слепого бешенства при сознании, что все уже было от вечности, все – вплоть до этой самой минуты нигилизма и страсти разрушения. Ценность такого кризиса в том, что он очищает, что он сводит вместе родственные элементы, которые взаимно губят друг друга, в том, что он людям противоположного образа мыслей указывает на общие задачи; обнаруживая и среди них более слабых и менее уверенных, он этим создает особую иерархию сил с точки зрения здоровья: признавая повелевающих – повелевающими, подчиняющихся – подчиняющимися. Конечно оставляя в стороне все существующие общественные группировки.

Кто же окажется при этом самыми сильными? Самые умеренные, те, кто не нуждаются в крайних догмах веры, те, которые не только допускают добрую долю случайности, бессмысленности, но и любят ее, те, кто умеют размышлять о человеке, значительно ограничивая его

ценность, но не становясь, однако, от этого ни приниженными, ни слабыми; наиболее богатые здоровьем, те, которые легче переносят всякие невзгоды, и поэтому не слишком боятся невзгод – люди, уверенные в своей силе и с сознательной гордостью олицетворяющие достигнутого человеком мощь.

Каковы были бы мысли такого человека о вечном возвращении?

56. Периоды европейского нигилизма.

Период неясности – всевозможные попытки сохранить старое, не упуская вместе с тем нового.

Период ясности – окончательное уразумение, что старое и новое в основе противоположны друг другу, ибо старые ценности порождены нисходящей жизнью, а новые – восходящей, что все старые идеалы суть идеалы враждебные жизни (то есть вызванные декадансом и сами обуславливающие его, хотя и разряженные в пышный праздничный убор морали). Мы понимаем старое и далеко не достаточно сильны для нового.

Период трех великих аффектов – презрения, сострадания и разрушения.

Период катастрофы – распространение учения, которое просеивает людей, побуждающего слабых, а также и сильных к решимости.

II. К истории европейского нигилизма

A. Современное омрачение

57. Друзья мои, нам туго приходилось, когда мы были молоды – мы страдали от самой молодости, как от тяжелой болезни. В этом виновато время, в которое мы заброшены, – время большого внутреннего упадка и распада, которое всеми своими слабостями и даже лучшей своей силой противоборствует духу молодости. Распадение, следовательно, неопределенность свойственны этому времени – нет ничего, что бы стояло на ногах крепко, с суровой верой в себя – живут для завтрашнего дня, ибо послезавтра сомнительно. Все на нашем пути скользко и опасно, и при этом лед, который нас еще держит, стал таким тонким; мы все чувствуем грозящее нам дыхание оттепели – там, где мы еще ступаем, скоро нельзя будет проходить никому!

58. Если это не столетие упадка и постепенно убывающей жизненной силы, то, по меньшей мере – столетие необдуманных и произвольных попыток управления жизнью; и весьма вероятно, что от чрезмерного числа неудачных опытов получится некоторое общее впечатление как бы упадка, а быть может, и на самом деле – упадок.

59. К истории современного омрачения.

Государственные кочевники (чиновники и т. д.): нет «родины».

Падение семьи.

«Добрый человек» как симптом изнеможения.

Справедливость как воля к власти (воспитание).

Половая похотливость и невроз.

Черная музыка: куда девалась настоящая музыка?

Анархист.

Презрение к людям, отвращение.

Глубочайшее различие: происходит ли творческий характер от голода или переизбытка? Первый создает идеалы романтики. – Северная неестественность. Потребность в Alcoholica – «нужда» рабочего сословия.

Философский нигилизм.

60. Медленное выступление вперед и подъем средних и низших состояний и сословий (в том числе низших форм духа и тела), которое уже в значительной мере было подготовлено Французской революцией, хотя и без революции не замедлило бы проложить себе дорогу, – в целом приводит к перевесу стада над всеми пастухами и вожатыми.

1) Омрачение духа (совместное существование стоической и фривольной видимости счастья, свойственное благородным культурам, встречается все реже, многие страдания становятся заметными и заявляют о себе там, где прежде их переносили и скрывали);

2) Моральное лицемерие (способ выдвинуться своей моралью, но путем проявления стадных добродетелей: сострадания, заботливости о других, умеренности, а не тех, которые признаются и ценятся вне стадности);

3) Действительное сострадание и сорадование в больших размерах (радость близкого общения с большим числом себе подобных, свойственное всем стадным животным – «чувство общности», «отечество», – словом все; и это при том, что не принимается в соображение индивид).

61. Наше время, с его стремлением как-нибудь помочь нуждам, предупредить их и вообще своевременно устранить могущие быть от них неприятные последствия, есть время бедных. Наши «богатые» – вот самые бедные! Коренная цель всякого богатства забыта!

62. Критика современного человека: «человек добр», но только испорчен и соблазнен дурными установлениями (тиранами и папами); разум как авторитет; история как преодоление ошибок; будущее как прогресс; христианское государство («Господь сил»); христианское отношение полов (или брак); царство «справедливости» (культы «человечества»): «свобода».

Романтическая поза современного человека: благородный человек (Байрон, Виктор Гюго, Жорж Санд); благородное негодование; освящение страстью (как подлинную «природою»); защита угнетенных и обездоленных как девиз историков и романистов; стойки долга; «самоотречение» как искусство и познание; альтруизм как наиболее изолгавшаяся форма эгоизма (утилитаризм), сентиментальный эгоизм.

Это все проистекает от восемнадцатого века. А вот что мы от него не унаследовали, так это – *l'insouciance*¹⁴, веселость, изящество, ясность ума; темп духа менялся; наслаждение духовною ясностью и тонкостью уступило место наслаждению красками, гармонией, массой, реальностью и т. д. Сенсуализм в духовном. Словом – это восемнадцатый век Руссо.

63. В общем счете в нашем современном человечестве гуманность достигла огромных размеров. То, что это обычно не ощущается, может само по себе служить доказательством справедливости сказанного: мы стали столь чувствительны к мелким невзгодам, что проявляем несправедливость в оценке достигнутого нами.

При этом не следует упускать из виду значительное влияние декаданса, как и то, что наш мир, если смотреть на него декадентскими глазами, должен казаться плохим и жалким.

Но эти глаза во все времена видели одно и то же:

1) некоторую перевозбужденность даже морального чувства;

2) ту долю озлобления и омрачения, которую пессимизм привносит в суждения.

И то, и другое вместе дало перевес противоположному представлению, а именно, что в нашей морали не все обстоит благополучно.

Однако факт существования кредита, всей мировой торговли, установления постоянных сношений, – во всем этом выражается необычайно благосклонное доверие к человеку. Этому же способствует:

3) освобождение науки от моральных и религиозных целей – весьма хороший признак, но в большинстве случаев ложно понимаемый.

Я пытаюсь на свой лад оправдать историю.

64. Второй буддизм. Нигилистическая катастрофа, которая кладет конец индийской культуре. Предвестья ее: распространение сострадания. Духовное переутомление. Сведение проблем к вопросам удовольствия и неудовольствия. Военное величие и слава, возбуждающие соответствующую реакцию. Равным образом – национальные отграничения, вызывающие некоторое обратное движение к сердечному «братству». Невозможность для религии работать далее при посредстве догматов и басен.

Этой буддийской культуре положит конец нигилистическая катастрофа.

65. Всего глубже подорваны в наше время инстинкт и воля традиции. Все установления, обязанные своим происхождением этому инстинкту, противоречат вкусу современного человека. Что бы ни делали и ни думали ныне, во всем преследуется в сущности только одна цель – с корнем вырвать эту склонность к преданию, к преемственности. В традиции видят тяжкую неизбежность: ее изучают, признают (как «наследственность»), но не хотят ее. Напряжение воли, направленное на далекое грядущее, подбор условий и оценок, дающих власть наперед над сотнями лет – все это в высшей степени несовременно. Отсюда следует, что характер нашей эпохи определяется дезорганизующими принципами.

¹⁴ Беспечность (*фр.*).

66. «Будьте просты» – вот требование, которое, будучи обращенным к нам, сложным и непостижимым испытателям утроб, является просто глупостью. Будьте естественны! Хорошо, ну а если мы по существу «неестественны»?

67. В былое время средствами, имевшими своей целью создание, через длинный ряд поколений, однородных, устойчивых существ, являлись: не подлежащее отчуждению земельное владение, уважение к старейшим (источник веры в богов и героев как предков).

Теперь раздробление земельной собственности объясняется противоположной тенденцией. Газета заменила ежедневные молитвы. Железная дорога, телеграф. Централизация огромной массы разнообразных интересов в одной душе, которая при этих условиях должна отличаться большой силой и способностью к превращениям.

68. Почему все становится комедианством. Современному человеку недостает верного инстинкта (результат долгой однообразной формы деятельности для каждого рода людей); неспособность создать что-либо совершенное есть прямое следствие того – отдельный человек не в силах наверстать не данное ему школой.

Чем вызывается к жизни мораль, законодательство? Глубоким инстинктивным чувством того, что лишь благодаря автоматизму их действия возможно совершенство в жизни и творчестве.

Но ныне мы достигли противоположной точки, хотели и достигли ее, а именно – крайней сознательности, самопостижения человека и истории. Благодаря этому на практике мы всего дальше от совершенства в своем бытии, делании, воле – самая наша жажда, наша воля к познанию есть симптом безмерного декаданса. Мы стремимся к противоположности того, чего хотят сильные расы, сильные натуры – постижение есть конец.

Что наука возможна в том смысле, как она процветает ныне, это доказательство того, что все элементарные инстинкты – инстинкты самозащиты и самоограждения – более не действуют в жизни. Мы больше не собираем, мы расточаем то, что накоплено нашими предками, – и это верно даже в отношении того способа, каким мы познаем действительность.

69. Нигилистическая черта:

a) в естественных науках («отсутствие смысла») – каузализм, механизм. «Закономерность» – переходная ступень, остаток старины;

b) равным образом в политике: человек утратил веру в свое право, невинность; царит лганье, служение минуте;

c) то же и в народном хозяйстве, уничтожение рабства, отсутствие искупающего сословия, оправдателя, появление и рост анархизма. «Воспитание»?

d) точно так же в истории: фатализм, дарвинизм; последние попытки истолковать ее с помощью понятий разума и божественности потерпели неудачу. Сентиментальность по отношению к прошлому; биография представляется чем-то нестерпимым! (Феноменализм и здесь: характер как маска; события нет);

e) схожесть и в искусстве: романтика и реакция против нее (отвращение к романтическим идеалам и лжи). Последняя – моральна, как чувство большей правды, но пессимистична. Чистые «артисты» (равнодушны к содержанию). (Психология исповедален и пуританская психология, две формы психологической романтики; и ее противоположное предложение – отнестись к «человеку» чисто артистически, но и тут еще нет решимости на установление обратной оценки!)

70. Против учения о влиянии среды и внешних причин – внутренняя сила бесконечно важнее; многое, что представляется влиянием извне, в сущности есть только приспособление этой внутренней силы к окружающему. Совершенно тождественные среды могут получить прямо противоположное толкование и быть использованы в противоположном смысле, фактов не существует. Гений не может быть объяснен из подобных условий его появления.

71. «Современность», изображенная в образе питания и усвоения пищи.

Чувствительность несказанно обострена (под моралистическими прикрасами: увеличение сострадания); количество разрозненных впечатлений больше, чем когда-либо: космополитизм языков, литератур, газет, форм, вкусов, даже пейзажа. Темп этого потока – *prestissimo*¹⁵; впечатления смыывают одно другое; инстинктивно остерегаешься воспринимать что-либо, воспринимать глубоко, «переваривать» – отсюда как результат ослабление пищеварительной силы. Происходит известного рода приспособление к этому перегрузению впечатлениями – человек отучается от активности, – все сводится к реагированию на внешние раздражения. Он расходует свою силу частью на усвоение, частью на самооборону, частью на борьбу. Глубокое ослабление самопроизвольности: историк, критик, аналитик, толкователь, наблюдатель, коллекционер, читатель – все «реактивные» таланты; все – наука!

Искусственное уподобление своей природы «зеркалу»: есть интересы, но только не проникающие далее эпидермы; принципиальная холодность, уравновешенность, строго поддерживаемая низкая температура непосредственно под тонким верхним слоем, на котором есть тепло, движение, «буря», игра волн.

Противоположность между внешней подвижностью и некоторым отяжелением и утомлением в глубине.

72. Куда можно отнести наш современный мир: к эпохам истощения или эпохам восхождения?

Его многообразие и беспокойность обусловлены высшей формой сознательности.

73. Переутомление, любопытство и сочувствие – наши современные пороки.

74. К характеристике «современности». Пышный расцвет промежуточных форм; убыль типов; разрыв с традицией, со школами; господство инстинктов (подготовленное высокой философской оценкой бессознательного), последовавшее за ослаблением силы воли, – воления целей и средств.

75. Дельному ремесленнику и ученому приличествует гордиться своим искусством и скромным довольством взирать на жизнь. С другой стороны, нет зрелища печальнее, чем то, когда какой-нибудь сапожник или школьный учитель со страдальческим видом дает понять, что он собственно рожден для чего-то высшего. Нет вообще чего-либо лучшего, чем хорошее! А это последнее в том и заключается, чтобы быть в чем-нибудь дельным и соответственно тому творить, – *virtu*¹⁶ в смысле итальянского Ренессанса.

В настоящее время, когда государство отрастило себе бессмысленно «толстый живот», появились во всех полях деятельности и во всех специальностях, кроме деятелей еще и «представители», как то: помимо ученых еще литераторы; помимо страждущих слоев народа еще и болтающие и хвастливые бездельники, считающие себя «представителями» этого страдания, – не говоря уже о профессиональных политиках, которые благодушествуют и при помощи крепких легких «представляют» общественные нужды перед каким-либо парламентом. Наша современная жизнь стала страшно дорога ввиду массы посредников: между тем в античном городе, а как отголосок древности – и во многих городах Испании и Италии, каждый выступал за себя и не дал бы даже ломаного гроша за такого современного представителя и посредника.

76. Преобладание мелочного торговца и посредника – даже в сфере наиболее духовного: литератор, историк (спаивающий прошлое с настоящим), экзотик и космополит; посредники между естественными науками и философией, полутеологи.

77. Наибольшее отвращение возбуждали во мне до сих пор лизоблюды духа – их можно уже теперь найти в нашей нездоровой Европе повсюду, и, что их особенно отличает – это пол-

¹⁵ Самый быстрый (*итал.*).

¹⁶ Добродетель (*итал.*).

нейшая чистота совести. Они, пожалуй, немного мрачны, немного *air pessimiste*¹⁷, но главным образом прозорливы, грязны, марки, вкрадчивы, пролазы, вороваты, паршивы – и невинны, как все маленькие грешники и микробы. Они живут за счет умных и остроумных людей, полной пригоршню бросающих людям свой ум и свое остроумие; они знают, что богатым духом свойственно беззаботно и даже расточительно, пренебрегая мелочной осторожностью, день за днем раздавать себя и свое. Ибо дух плохой домохозяин, и сам не замечает, как все живет и питается за его счет.

78. Комедианство.

Пестрота красок в современном человечестве и ее привлекательность. По существу игра в прятки и пресыщение.

Литератор.

Политик (в «национальном шарлатанстве»).

Комедианство в искусствах:

– недостаток основательной научной подготовки и дисциплины (Фромантен);

– романтики (недостаток философии и науки и избыток литературы);

– романисты (Вальтер Скотт, но также и чудовища – «Нибелунги» с наинервнейшей музыкой);

– лирики.

«Научность».

Виртуозы (евреи).

Народные идеалы, как превзойденные и замененные, но еще не в глазах народа:

– святой, мудрец, пророк.

79. Недисциплинированность современного духа под всевозможными моральными уборами. Пышные наименования: терпимость (а в сущности неспособность сказать «да» или «нет»); *la largeur de sympathie*¹⁸ (на треть – равнодушие, на треть – любопытство, на треть – болезненная возбудимость); «объективность» (недостаток личности, недостаток воли, неспособность к любви); «свобода» по отношению к правилам (романтика); «истина» в противовес лжи и подделке (натурализм); «научность» («*Le document humain*¹⁹»: в переводе – лубочный роман и суммирование, сводка вместо компоновки); «страсть», где в действительности беспорядочность и безмерность; «глубина», где в действительности путаница и сумятица символов.

80. К критике великих слов. Я исполнен подозрения и злобы к тому, что называют «идеалом»; здесь заключен мой пессимизм, поскольку я постиг, насколько «высшие чувства» суть источники бедствия, то есть умаления и обесценения человека.

Ожидая от идеала какого-нибудь «прогресса», неизменно впадают в заблуждение – до сих пор победа идеала всякий раз была движением вспять.

Христианство, революция, отмена рабства, равенство прав, филантропия, миролюбие, справедливость, истина – все эти великие слова имеют цену лишь в борьбе как знамена, – не как реальности, а как пышные наименования для чего-то совсем иного (даже противоположного!).

81. Известен тот сорт людей, который влюблен в изречение *tout comprendre c'est tout pardonner*²⁰. Это – слабые, это прежде всего – разочарованные: если во всем можно найти что-либо подлежащее прощению, то, следовательно, и во всем есть нечто, достойное презрения! Здесь философия разочарования кутается столь гуманно в сострадание и так умильно взирает на нас.

¹⁷ С пессимистическим видом (*фр.*).

¹⁸ Широта симпатии (*фр.*).

¹⁹ Человеческий документ (*фр.*).

²⁰ Все понимать, значит все прощать (*фр.*).

Это – романтики, вера которых улетучилась, и вот им хочется теперь по крайней мере полюбоваться со стороны на то, как все бежит и исчезает. Они называют это *l'art pour l'art*²¹, «объективностью» и т. д.

82. Главные симптомы пессимизма: *les diners chez Magny*²²; русский пессимизм (Толстой, Достоевский); эстетический пессимизм, *l'art pour l'art*, «description»²³ (романтический и антиромантический пессимизм); гносеологический пессимизм (Шопенгауэр, феноменализм); анархический пессимизм; «религия сострадания», предварение буддизма; культурный пессимизм (экзотизм, космополитизм); этический пессимизм: я сам.

83. «Без христианской веры, – думал Паскаль, – вы сами в своих глазах, так же как и природа и история, будете – *un monstre et un chaos*». Это пророчество претворилось применительно к нам после того, как малодушно-оптимистическое восемнадцатое столетие прикрасило и рационализировало человека.

Шопенгауэр и Паскаль. В одном важном смысле Шопенгауэр первый продолжил дело Паскаля: *un monstre et un chaos*²⁴, следовательно нечто подлежащее отрицанию. История, природа и сам человек!

«Наша неспособность познать истину есть следствие нашей испорченности, нашего нравственного падения» – так говорит Паскаль. И то же, в сущности, говорил Шопенгауэр. «Чем глубже извращение разума, тем необходимее учение об искуплении» – или, выражаясь по шопенгауэровски, – отрицание бытия.

84. Шопенгауэр как подделка (дореволюционное состояние): католицизм, сострадание, чувственность, искусство, слабость воли, даже наиболее духовных порывов – это *au fond*²⁵ подлинный восемнадцатый век.

Коренное непонимание Шопенгауэром воли (как будто вожеление, влечение, инстинкт – самое существенное в воле) – типично: умаление ценности воли вплоть до полного непонимания ее. Вместе с тем ненависть к воле; попытка в «неволеии», в «пребывании бесцельным субъектом» (в «чистом, безвольном субъекте») усмотреть нечто более высокое, – даже самое высшее, самое ценное по существу. Великий симптом усталости или ослабления воли, которая и есть то, что господствует над вожелением, указуя ему меру и путь его.

85. Была сделана недостойная попытка – рассматривать Вагнера и Шопенгауэра как типы умственно ненормальных людей; в интересах уяснения вопроса было бы несравненно важнее, если б с научной точностью определили тот тип декаданса, к которому принадлежат они оба.

86. Генрик Ибсен стал мне отчетливо понятен. При всем своем здоровом идеализме и «воле к истине» он не осмелился сбросить с себя оковы того морального иллюзионизма, который говорит «свобода» и не хочет признаться себе в том, что такое свобода. Ступени в метаморфозе «воли к власти» со стороны тех, кто лишен ее:

- на первой требуют справедливости от тех, в чьих руках власть;
- на второй говорят «свобода», то есть хотят «отделаться» от тех, в чьих руках власть;
- на третьей говорят «равные права», то есть хотят, пока сами еще не получили перевеса, воспрепятствовать и другим соискателям расти в могуществе.

87. Упадок протестантизма: теоретически и исторически он оценен как нечто половинчатое. Фактический перевес католицизма; чувство протестантизма настолько угасло, что сильнейшие антипротестантские движения не ощущаются более как таковые (пример: вагнеров-

²¹ Искусство ради искусства (*фр.*).

²² Обеды у вельмож (*фр.*).

²³ Описание (*фр.*).

²⁴ Чудовище и хаос (*фр.*).

²⁵ В сущности (*фр.*).

ский «Парсифаль»). Вся высшая духовность во Франции католична по инстинкту; Бисмарк понял, что протестантизма вообще уже более нет.

88. Протестантизм – это умственно-нечистоплотная и скучная форма декаданса, в которой христианство сумело сберечь себя до наших дней на жалком Севере. Для познания представляет интерес как нечто половинчатое и разносоставное, поскольку объединяет в одних и тех же головах восприятия различного порядка и происхождения.

89. Во что обратился немецкий дух христианство! И, возвращаясь к протестантизму: сколько пива в протестантском христианстве! Мыслима ли более духовно затхлая, более ленивая, развалистая форма христианской веры, чем верования среднего немецкого протестанта? Это назову я воистину скромным христианством! Гомеопатией христианства назову я это! Мне напоминают о том, что в наше время существует и нескромный протестантизм, протестантизм придворного проповедника и антисемитских спекулянтов, но никто еще не утверждал реальность того, чтобы какой-нибудь «дух» «носился» над этими водами... Это просто более непристойная форма христианства, а вовсе не более разумная.

90. Прогресс. Не надо впадать в ошибку! Время бежит вперед, а нам бы хотелось верить, что и все, что в нем, бежит также вперед, что развитие есть развитие поступательное. Такова видимость, соблазняющая даже самых рассудительных. Но девятнадцатое столетие не есть движение вперед по сравнению с шестнадцатым; и немецкий дух в 1888 году есть шаг назад по сравнению с немецким духом в 1788-м. «Человечество» не движется вперед, его и самого-то не существует. В общем аспекте оно напоминает огромную экспериментальную лабораторию, где кое-что, рассыпанное на протяжении всех времен и эпох, удастся, и несказанно многое не удастся, где нет никакого порядка, логики, связи и обязательности. Как можно не усмотреть, что возникновение христианства есть декадентское движение?.. Что немецкая Реформация есть вторичное появление в усиленной форме христианского варварства?.. Что революция разрушила инстинкт, влекший к великой организации общества?.. Человек не есть шаг вперед по отношению к животному; культурная неженка – выродок по сравнению с арабом или корсиканцем; китаец – тип удачный, а именно более устойчивый, чем европеец.

В. Последние века

91. Омрачение, пессимистическая окраска – неизбежные спутники просвещения. Около 1770 года уже стали замечать отлив веселости. Женщины полагали, со свойственным им инстинктом, всегда становящимся на сторону добродетели, что виною тому безнравственность. Гальяни, тот попал прямо в цель – он цитирует стихи Вольтера:

Un monstre gai vaut mieux
Qu'un sentimental ennuyeux.

Если я теперь полагаю, что ушел в просвещении столетия на два вперед от Вольтера и даже Гальяни, – который был нечто значительно более глубокое, – то насколько же я при этом должен был подвинуться и в омрачении. Оно так и есть: и я своевременно с некоторого рода сожалением стал ограждать себя от немецкой и христианской узости и непоследовательности шопенгауэровского или даже леопардиевского пессимизма и пустился в поиски наиболее коренных, принципиальных форм восприятия сущего (Азия). Но чтобы вынести этот крайний пессимизм (отзвуки которого тут и там слышатся в моем «Рождении трагедии»), чтобы прожить, одиноким, «без Бога и морали», мне пришлось изобрести себе нечто противоположное. Быть может, я лучше всех знаю, почему только человек смеется – он один страдает так глубоко, что принужден был изобрести смех. Самое несчастное и самое меланхолическое животное – по справедливости и самое веселое.

92. По отношению к немецкой культуре у меня всегда было чувство, что она идет на убыль. То, что я познакомился именно с падающим видом культуры, делало меня часто несправедливым по отношению ко всему явлению европейской культуры во всей ее совокупности. Немцы всегда идут позади, с опозданием; они несут что-нибудь в глубине, например:

Зависимость от чужих стран, например: Кант – Руссо, сенсуалисты, Юм, Сведенборг.
Шопенгауэр – индийцы и романтика, Вольтер.

Вагнер – французский культ ужасного и большой оперы, Париж и бегство в первобытное состояние (брак брата с сестрой).

Закон идущих в хвосте (провинция за Парижем, Германия за Францией).

Как же это именно немцы открыли греков; чем сильнее мы развиваем в себе какое-либо стремление, тем привлекательнее становится броситься при случае в его противоположность. Музыка есть постепенное стихание звука.

93. Возрождение и Реформация. Что доказывает Возрождение? То, что царство «индивида» может быть лишь краткосрочным. Расточительность слишком велика: отсутствует даже самая возможность собирать, капитализировать, и истощение идет по следам человека. Есть времена, когда все растрачивается, когда растрачивается даже та сила, при помощи которой собирают, капитализируют, копят богатство к богатству. Даже противники таких движений обречены на бессмысленное расточение сил, и они быстро приходят к истощению, обессилению, опустошению.

В Реформации мы имеем одичалое и мужицки грубое подобие итальянского Ренессанса, вызванное к жизни родственными инстинктами, с тою лишь разницей, что на Севере, отсталом и оставшемся на низкой ступени развития, Ренессансу пришлось облечься в религиозные формы: понятие высшей жизни еще не отделилось там от понятия жизни религиозной.

И в Реформации индивид стремится к свободе: «всякий сам себе священник» – это тоже не более, как одна из формул распущенности. И действительно, достаточно было одного слова «евангельская свобода», чтобы все инстинкты, имевшие основание оставаться скрытыми, вырвались наружу, как свора диких псов, грубейшие потребности внезапно обрели смелость, все стало казаться оправданным. Люди остерегались понять, какую свободу они в сущности разумели, закрывали на это глаза. Но то, что глаза были прикрыты и уста увлажнены мечтательными речами, не мешало тому, что руки загребали все, что им попадалось, что брюхо стало Богом «свободного евангелия» и что все вожелания зависти и мести утолялись с ненасытной яростью.

Так длилось некоторое время: затем наступило истощение, подобно тому как это случилось и в южной Европе, – но опять-таки грубый вид истощения: всеобщее *guere in servitium*²⁶. Начался неприличный век Германии.

94. Рыцарство как добытое с бою положение власти; его постепенное разрушение (и отчасти переход в нечто более широкое, буржуазное). У Ларошфуко налицо сознание основных мотивов этого благородства душевного строя и христиански омраченная оценка этих мотивов.

Продолжение христианства Французской революцией. Соблазнитель – Руссо: он вновь снимает оковы с женщины, которую с тех пор начинают изображать все более интересной – страдающей. Затем рабы и госпожа Бичер-Стоу. Затем бедные и рабочие. Затем порочные и больные: все это выдвигается на первый план (даже для того, чтобы вызвать сочувствие к гению, вот уже пятьсот лет не могли найти лучшего средства, как изображать его великим страдальцем!). Затем – проклятие сладострастия (Бодлер и Шопенгауэр); решительнейшее убеждение, что стремление к властвованию есть величайший из пороков; совершенная уверенность в том, что мораль и *desinteressment* тождественные понятия; что «счастье всех» есть цель, достойная стремлений (то есть царство небесное по Христу). Мы стоим на верном пути: небес-

²⁶ Брыкание в рабстве (*фр.*).

ное царство нищих духом началось. Промежуточные ступени: буржуа (как *parvenu*²⁷ путем денег) и рабочий (как последствие машины).

Сравнение греческой культуры и французской времен Людовика XIV. Решительная вера в себя. Сословие праздных, всячески усложняющих себе жизнь и постоянно упражняющихся в самообладании. Могущество формы, воля к самооформливанию. «Счастье» как осознанная цель. Много силы и энергии за внешним формализмом. Наслаждение созерцанием по-видимому столь легкой жизни.

Греки представлялись египтянам детьми.

95. Три столетия.

Различие их чувствительности может быть выражено лучше всего следующим образом.

Аристократизм: Декарт, господство разума – свидетельство суверенитета воли;

Феминизм: Руссо, господство чувства – свидетельство суверенитета чувств, лживость;

Анимализм: Шопенгауэр, господство похоти – свидетельство суверенитета животности; честнее, но мрачнее.

Семнадцатый век аристократичен, он – поклонник порядка, надменен по отношению к животному началу, строг к сердцу, – лишен добродушия и даже души, «не немецкий»; это – век, враждебный всему естественному и лишенному достоинства, обобщающий и властный по отношению к прошлому, ибо верит в себя. *Au fond* в нем много хищника, много аскетического навыка – дабы сохранить господство. Сильное волей столетие, а также – столетие сильных страстей.

Восемнадцатый век – весь под властью женщины: мечтательный, остроумный, поверхностный, но умный, где дело касается желаний и сердца, *libertin*²⁸ даже в самых духовных наслаждениях, подкапывающийся подо все авторитеты: опьяненный, веселый, ясный, гуманный, лживый перед самим собою, *au fond* – в значительной мере *capaille*²⁹, общительный.

Деятнадцатый век – более животный, подземный; он безобразнее, реалистичнее, грубее, – и именно потому «лучше», честнее, покорнее всякого рода действительности, истинный; зато слабый волею, зато печальный и темно-вождевающий, зато фаталистичный. Нет страха и благоговения ни перед «разумом», ни перед «сердцем»; глубокая убежденность в господстве влечений (Шопенгауэр говорил «воля», но ничего нет характернее для его философии, как отсутствие в ней действительной воли). Даже мораль сведена к инстинкту («сострадание»).

Огюст Конт есть продолжение восемнадцатого века (господство «*du coeur*»³⁰ над «*la tete*»³¹; сенсуализм в теории познания, альтруистическая мечтательность).

Та степень, в которой стала господствовать наука, указывает, насколько освободилось девятнадцатое столетие от власти идеалов. Известное «отсутствие потребностей», характеризующее нашу волю, впервые дало возможность развиваться научной любознательности и строгости – этому, по преимуществу характерному нашему времени, виду добродетели.

Романтизм – подделка под восемнадцатый век, род раздутого стремления к его мечтательности высокого стиля (в действительности порядочное таки комедианство и самообман: хотели изобразить сильную натуру, великие страсти).

Деятнадцатый век инстинктивно ищет теорий, которые оправдывали бы его фаталистическое подчинение факту. Уже успех Гегеля, в противовес «чувствительности» и романтическому идеализму, основывался на фатализме его образа мышления, на его вере в то, что преимущество разума на стороне победителей, на его оправдании реального «государ-

²⁷ Достигнутое (*фр.*).

²⁸ Распущенный (*фр.*).

²⁹ Негодяй (*фр.*).

³⁰ Сердце (*фр.*).

³¹ Рассудок (*фр.*).

ства» (вместо «человечества» и т. д.). Шопенгауэр: мы – нечто неразумное и, в лучшем случае, даже нечто самоупражняющееся. Успех детерминизма, генеалогического выведения считавшихся прежде абсолютными обязательств, учение о среде и приспособлении, сведение воли к рефлекторным движениям, отрицание воли как «действующей причины», наконец – полное изменение смысла: воли налицо так мало, что самое слово становится свободным и может быть употреблено для обозначения чего-либо другого. Дальнейшие теории; учение об объективности, о «бесстрастном» созерцании, как единственном пути к истине, – также и к красоте (вера в «гений» для того, чтобы иметь право подчиняться); механичность, обезличивающая косность механистического процесса; мнимый «натурализм», нетипичность избирающего, судящего, истолковывающего субъекта как принцип.

Кант со своим «практическим разумом», со своим фанатизмом морали весь еще – восемнадцатый век, еще всецело вне исторического движения; не восприимчивый к действительности своего времени, напр.: к революции; не затронутый греческой философией; фанатик понятия долга: сенсуалист, на подкладке догматической избалованности.

Возврат к Канту в нашем столетии есть возврат к восемнадцатому веку: захотели снова добыть себе право на старые идеалы и на старые мечты – в этих целях и теория познания, «полагающая границы», то есть дозволяющая устанавливать по своему усмотрению некое «потустороннее», разумна.

Образ мышления Гегеля не далек от Гёте: вслушайтесь в слова Гёте о Спинозе. Воля к обожествлению целого и жизни, дабы в их созерцании и исследовании обрести покой и счастье. Гегель всюду ищет разума – перед разумом можно смириться и покориться. У Гёте – особого рода, почти радостный и доверчивый фатализм, не бунтующий, не утомленный, стремящийся из себя самого создать нечто целостное, веруя, что только в целом все освобождается и является благим и оправданным.

96. Период Просвещения, за ним период чувствительности. В какой мере Шопенгауэр принадлежит к периоду «чувствительности» (Гегель – к духовности).

97. Семнадцатый век болеет человеком как некой суммой противоречий («l'amas de contradictions»³², которую мы являем собою); он стремится открыть человека, откопать его, ввести его в строй, тогда как восемнадцатый век старается забыть все, что известно о природе человека, дабы приладить его к своей утопии. «Поверхностный, мягкий, гуманный» век, восторгающийся «человеком».

Семнадцатый век стремится стереть следы индивида, дабы творение имело возможно больше сходства с жизнью. Восемнадцатый век стремится творением вызвать интерес к автору. Семнадцатый век ищет в искусстве искусства, как некоторой части культуры; восемнадцатый – ведет путем искусства пропаганду реформ социального и политического характера.

«Утопия», «идеальный человек», обожествление природы, суетность самовыставления, подчинение пропаганде социальных целей, шарлатанство – вот что к нам перешло от восемнадцатого века.

Стиль семнадцатого века: *propre, exact et libre*³³.

Сильный индивид, довлеющий самому себе или перед лицом Бога усердно трудящийся – и эта современная авторская пронырливость, навязчивость – вот крайние противоположности. «Выставлять себя на первое место» – сравните с этим ученых Порт-Рояля.

У Альфиери было понимание высокого стиля.

Ненависть к «burlesque»³⁴ (лишенному достоинства) и недостаток чувства естественного – вот черты семнадцатого века.

³² Скопление противоречий (*фр.*).

³³ Способный, точный и свободный (*фр.*).

³⁴ Шутовское (*фр.*).

98. Против Руссо. К сожалению, человек в настоящее время уже недостаточно зол: противники Руссо, говорящие: «человек – хищное животное», к сожалению не правы. Не в извращенности человека проклятие, а в изнеженности, в оморалении его. В той сфере, на которую всего ожесточеннее нападал Руссо, тогда еще сохранялась сравнительно сильная и удачная порода людей (обладавшая еще ненадломленными великими аффектами: волею к власти, волею к наслаждению, волею и способностью повелевать). Следует сравнить человека восемнадцатого века с человеком Возрождения (или человеком семнадцатого века во Франции), чтобы заметить, в чем тут дело: Руссо – симптом самопрезрения и разгоряченного тщеславия; и то, и другое суть показатели недостатка доминирующей воли; он морализует и, как человек затаенной злобы, ищет причину своего ничтожества в господствующих классах.

99. Вольтер – Руссо. Природное состояние – ужасно, человек – хищный зверь, наша цивилизация – неслыханный триумф над этой природой хищного зверя. так умозаключал Вольтер. Он ценил смягчение нравов утонченностью, духовные радости цивилизованного состояния, он презирал ограниченность, даже в форме добродетели, недостаток деликатности, даже у аскетов и монахов.

Руссо больше всего занимало нравственное несовершенство человека; словами «несправедливо», «жестоко» всего легче разжечь инстинкты угнетенных, которые обыкновенно сдерживаются страхом *vetitum*³⁵ и немилости, причем совесть угнетенных предостерегает их от бунтарских вождельний. Эти эмансипаторы стремятся прежде всего к одному – сообщить своей партии пафос и позы высшей природы.

100. Руссо: норма строится у него на чувстве; природа – как источник справедливости; человек совершенствуется в меру того, насколько он приближается к природе (по Вольтеру – в меру того, насколько он от нее отделился). Одна и та же эпоха: для одного – суть ее в прогрессе гуманности, для другого – в увеличении несправедливости и неравенства.

Вольтер понимает *humanita*³⁶ все еще в смысле Ренессанса; также и *virtù* (как «высокую культуру»), он борется за интересы «*des honnêtes gens*»³⁷ и «*de la bonne compagnie*»³⁸, за интересы вкуса, науки, искусства, самого прогресса и цивилизации.

Борьба загорается около 1760 г.: женеvский гражданин и *Le seigneur de Ferney*³⁹. Только с этих пор Вольтер становится представителем своего века, философом, исповедующим терпимость и неверие (до тех пор он лишь *un bel esprit*⁴⁰). Зависть и ненависть к успеху Руссо подвигли его вперед, «на вершины».

*Pour «la canaille» un Dieu rémunérateur et vengeur*⁴¹ – Вольтер. Критика точек зрения по отношению к ценности цивилизации. Социальное изобретение для Вольтера прекраснейшее из всех: нет цели выше, как поддерживать и усовершенствовать его; в том-то и *honnêteté*⁴², чтобы чтить социальные обычаи; добродетель – подчинение известным необходимым «предрассудкам» в интересах поддержания «общества». Вольтер – миссионер культуры, аристократ, сторонник победоносных господствующих классов и их оценок. Руссо же остался плебеем и как *homme de lettres*⁴³, это было неслыханно, источая дерзкое презрение ко всему тому, чем он сам не был.

³⁵ Запрет (*лат.*).

³⁶ Человечество (*итал.*).

³⁷ Честных людей (*фр.*).

³⁸ Хорошее общество (*фр.*).

³⁹ Помещик из Фернея (*фр.*).

⁴⁰ Остряк (*фр.*).

⁴¹ За «негодая» – вознаграждение и мщение бога (*фр.*).

⁴² Честность, порядочность (*фр.*).

⁴³ Писатель (*фр.*).

Болезненное в Руссо наиболее восхищало и вызывало подражание. (Ему родственен лорд Байрон; он также взвинчивал себя и принимал возвышенные позы, разжигал в себе мстительный гнев; позднее, благодаря Венеции, он пришел к равновесию и понял, что более облегчает и примиряет. *L'insouciance*⁴⁴.)

Руссо горд тем, что он есть, несмотря на свое происхождение, но он выходит из себя, когда ему об этом напоминают.

У Руссо несомненное помешательство, у Вольтера необычайное здоровье и легкость. Затаенная *gaspine*⁴⁵ больного; периоды его сумасшествия также есть периоды его презрения к людям и недоверчивости.

Защита Провидения у Руссо (против пессимизма Вольтера) – он нуждался в Боге, чтобы иметь возможность кинуть проклятием в общество и цивилизацию; все должно было само по себе быть хорошим, как сотворенное Богом; только человек извратил человека. «Добрый человек», как природный человек, был чистейшей фантазией, но в связи с догматом авторства Божия – нечто возможное и обоснованное.

Романтика à la Руссо. Страсть («верховное право страсти»), естественность, пленение безумием (дурачество, признаваемое за величие); мстительная злоба черни в качестве судии, безрассудное тщеславие слабого («в политике уже в течение ста лет избирали вождем больного»).

101. Кант: сделал приемлемым для немцев теоретико-познавательный скептицизм англичан:

1) связав с ним моральные и религиозные интересы немцев, подобно тому, как на том же основании академики позднейшего периода использовали скепсис в качестве подготовки к платонизму (*vide*⁴⁶ Августин); или как Паскаль использовал даже этический скепсис, чтобы пробудить («оправдать») потребность в вере;

2) снабдив его схоластическими выкрутасами и вычурностями и этим сделав его пригодным для научно-формального вкуса немцев (ибо Локк и Юм сами по себе были еще слишком ясны, прозрачны, то есть по немецким меркам, «слишком поверхностны»).

Кант: неважный психолог и знаток человека; грубо заблуждающийся относительно ценности великих исторических моментов (Французская революция); фанатик морали à la Руссо; с подпочвенным христианством оценок; догматик с головы до пят, но с тяжеловесным недовольством этой своей склонностью вплоть до желания тиранить ее, но тотчас же утомляющийся скепсисом; он, еще не овеянный ни единым дуновением космополитических вкусов и античной красоты, был задерживателем и посредником, лишенным оригинальности – (как Лейбниц посредничал и перекидывал мосты между механикой и спиритуализмом, а Гёте – между вкусом восемнадцатого века и вкусом «исторического понимания» (по существу своему носящего характер экзотизма), как немецкая музыка посредничала между французской и итальянской музыкой, как Карл Великий – между *imperium Romanum*⁴⁷ и национализмом. Кант – задерживатель *par excellence*).

102. В той же мере христианские века с их пессимизмом были более сильными, нежели восемнадцатый век, столетиями, в какой одно трагическое десятилетие классической Греции сильнее обычного европейского столетия.

Девятнадцатый век против восемнадцатого века. В чем наследует ему, в чем идет назад (меньше тонкости мысли, вкуса), в чем – превосходит его (мрачнее, реалистичнее, сильнее).

⁴⁴ Беспечность (*фр.*).

⁴⁵ Злопамятство (*фр.*).

⁴⁶ Смотри (*лат.*).

⁴⁷ Римская империя (*лат.*).

103. Какое значение имеет тот факт, что *Campagna romana*⁴⁸ возбуждает в нас определенные чувства? А также и горы? Шатобриан в письме от 1803 года к г. де Фонтану передает первое впечатление от *Campagna romana*.

Президент де Бросс говорит о *Campagna romana*: «Il fallait que Romulus fût ivre, quand il songea à bâtir une ville dans un terrain aussi laid»⁴⁹.

Делакруа также не любил Рима, он нагонял на него страх. Он был без ума от Венеции, как Шекспир, как Байрон, как Жорж Санд. Нерасположение к Риму испытывали также Теофиль Готье и Рихард Вагнер.

Ламартин восхваляет Сорренто и Позиллипу.

Виктор Гюго восторгается Испанией, «parce que aucune autre nation n'a moins emprunté à l'antiquité, parce qu'elle n'a subi aucune influence classique»⁵⁰.

104. Две великие попытки преодолеть восемнадцатый век. Наполеон, вновь пробудивший мужа, война и великую борьбу за власть – замыслив Европу как политическое целое.

Гёте, возмечтавший о единой европейской культуре, полностью наследующей всю уже достигнутую «гуманитарность».

Немецкая культура нашего века возбуждает к себе недоверие; к примеру, в музыке недостает полного, освобождающего и связующего гётевского элемента.

105. Перевес музыки у романтиков 1830 и 1840 годов. Делакруа. Энгр, страстный музыкант (культ Глюка, Гайдна, Бетховена, Моцарта), говорил своим ученикам в Риме: «Si je pouvais vous rendre tous musiciens, vous y gagneriez comme peintres»⁵¹; равным образом и Горас Верне, с его особенной страстью к Дон Жуану (как о том свидетельствует в 1831 году Мендельсон); точно так же Стендаль, который говорит о себе: «Combien de lieues ne ferais-je pas à pied, et à combien de jours de prison ne me soumettrais-je pas pour entendre Don Juan ou le Matrimonio segreto; et je ne sais pour quelle autre chose je ferais cet effort»⁵². В то время ему было 56 лет от роду.

И заимствование форм, например Брамсом, как типичным «эпигоном», и образованный протестантизм Мендельсона имеют одинаковый характер (здесь поэтически воспроизводится некоторая былая «душа»).

Моральные и поэтические подстановки у Вагнера – здесь один род искусства, служит по необходимости средством возмещения недостатков других;

«Историческое понимание», поэзия саги как источник вдохновения;

То типичное превращение, наиболее ярким примером которого между французами может служить Г. Флобер, а между немцами Рихард Вагнер – как романтическая вера в любовь и будущее уступает место стремлению в «Ничто» – с 1830 по 1850 год.

106. Отчего немецкая музыка достигает кульминационного пункта ко времени немецкого романтизма? Отчего нет Гёте в немецкой музыке? И зато сколько Шиллера, вернее, сколько «Теклы» в Бетховене!

В Шумане – Эйхендорф, Уланд, Гейне, Гоффман и Тик. В Рихарде Вагнере – Фрейшютц, Гоффман, Гримм, романтическая сага, мистический католицизм инстинкта, символизм, «свободомыслие страсти» (замысел Руссо). «Летучий голландец» отзывается Францией, где в 1830-м *le ténébreux*⁵³ был типом соблазнителя.

⁴⁸ Римская деревня (*итал.*).

⁴⁹ Вероятно, Ромул был пьян, когда задумал выстроить город в такой безобразной местности (*фр.*).

⁵⁰ Потому что никакая другая нация не взяла так мало у античности, потому что она не подвергалась влиянию классики (*фр.*).

⁵¹ Если бы я мог вас всех сделать музыкантами, вы бы от этого выиграли как художники (*фр.*).

⁵² Сколько бы лье ни прошел я пешком и сколько бы дней ни провел я в тюрьме ради того, чтобы только услышать «Дон Жуана» или «Матrimonio секрето», и я не знаю, ради чего другого я бы сделал подобное усилие (*фр.*).

⁵³ Мрачный (*фр.*).

Культ музыки, культ революционной романтики формы. Вагнер резюмирует романтизм, немецкий и французский.

107. Рихард Вагнер остается, если рассматривать его лишь в ценностном отношении для Германии и немецкой культуры, большою загадкою, может быть несчастьем для немцев, во всяком случае неким роком; но что из того? Разве он не нечто большее, чем только немецкое событие? Мне даже кажется, что он менее всего принадлежит Германии; ничто там не было к нему подготовлено, весь тип его остался прямо чуждым, странным, непонятым, непонятным для немцев. Однако все остерегаются в этом сознаться: для этого мы слишком добродушны, слишком неотесаны, слишком немцы. «Credo quia absurdus est»⁵⁴, этого хочет и хотел в данном случае и немецкий дух, и верит пока всему, чему Вагнер хотел бы, чтобы применительно к нему верили. Немецкому духу во все времена *in psychologisis*⁵⁵ не хватало тонкости и прозрения. В настоящее время, находясь под гнетом патриотизма и самолюбования, он на глазах становится все неповоротливее и грубее – где уж ему до проблемы Вагнера!

108. Немцы пока не представляют из себя ничего, но они становятся чем-то; следовательно у них еще нет культуры, – следовательно у них и не может еще быть культуры! Они еще не представляют ничего – это значит, что они и то, и се. Они становятся чем-то; это значит, что со временем они перестанут быть и тем, и сем. Последнее в сущности только пожелание, пока еще даже не надежда; но к счастью это – такое пожелание, опираясь на которое можно жить, это настолько же дело воли, работы, воспитания, подбора и дрессировки, насколько и дело негодования, стремления, ощущения недостаточности, неудовольствия, даже озлобления, – короче, мы, немцы, желаем чего-то от себя, чего от нас до сих пор еще не требовали – мы желаем чего-то большего.

То, что этого «немца, какого еще нет», ждет нечто лучшее, чем современное немецкое «образование», то, что все пребывающие в процессе «становления» должны приходить в бешенство, когда они встречаются с довольством в этой области, с нахальным «самоуспокоением» и «каждением перед собой», это мое второе положение, от которого я все еще не имею оснований отказаться.

С. Признаки подъема сил

109. Основное положение: некоторая доля упадка присуща всему, что характерно для современного человека; но рядом с болезнью подмечаются признаки не испытанной еще силы и могущества души. Те же причины, которые вызывают измельчание людей, одновременно влекут более сильных и более редких вверх к величию.

110. Основной вывод, допускающий двоякое толкование: характер нашего современного мира заключается в том, что одни и те же симптомы могут указывать и на падение и на силу.

Признаки силы, достигнутой зрелости могут быть ошибочно приняты за слабость, если в подходе к ним будет использована традиционная (отсталая) оценка чувства. Одним словом, чувство, как мерило ценности, окажется не на высоте времени.

Итак, чувство ценности всегда отстает, выражая условия сохранения, роста, соответствующие гораздо более раннему времени; это чувство борется против новых условий существования, под влиянием которых не возникало и которых неизбежно не понимает; оно тормозит, возбуждает подозрение против всего нового.

111. Проблема девятнадцатого века. Связаны ли между собою его слабые и сильные стороны? Изваян ли он из одного куска? Обусловлены ли какой-либо целью – как нечто более высокое – разнообразие и противоречивость его идеалов? Не свидетельствует ли это о пред-

⁵⁴ Верую потому, что бессмысленно (*лат.*).

⁵⁵ В области психологии (*лат.*).

определенности к величию – расти в такой страшной напряженности противоречий. Недовольство, нигилизм могли бы быть здесь хорошими знаменами.

112. Скажу так: фактически всякое крупное возрастание влечет за собой и огромное отмирание частей и разрушение; страдание, симптомы упадка характерны для времен огромных движений вперед: каждое плодотворное и могущественное движение человеческой мысли вызывало одновременно и нигилистическое движение. Появление крайней формы пессимизма, истинного нигилизма, могло бы быть при известных обстоятельствах признаком решительного и коренного роста, перехода в новые условия жизни. Это я понял.

113.

А.

Нужно отправляться от полного и смелого признания ценности нашего современного человечества – не надо поддаваться обману видимости – это человечество не так «эффектно»; но оно представляет несравненно большие гарантии устойчивости, его темп медленнее, но самый такт много богаче. Здоровье прибывает, действительные условия для создания крепкого тела уяснены и мало-помалу созидаются, «аскетизм» *ironice*⁵⁶. Боязнь крайностей, известное доверие к «истинному пути», отсутствие мечтательности; пока что попытка вжиться в более узкие ценности (как то: «отечество», «наука» и т. д.).

Подобная картина, в общем, все еще была бы двусмысленной – это могло бы быть восходящим, но также, пожалуй, и нисходящим движением жизни.

В.

Вера в «прогресс» – для низшей сферы разума она может сойти за признак восходящей жизни; но это самообман; для высшей сферы разума – за признак нисходящей.

Описание симптомов.

Единство точки зрения: неустойчивость в установке масштаба ценностей.

Страх перед всеобщим «Напрасно».

Нигилизм.

114. Собственно говоря, нам уже более и не нужно противоядие против первого нигилизма – жизнь у нас в Европе теперь уже не настолько необеспечена, случайна и бессмысленна. Теперь уже не нужно такое чрезмерное потенцирование ценности человека, ценности зла и т. д., мы допускаем значительное понижение этой ценности, мы можем вместить и много бессмысленного и случайного: достигнутая человеком сила позволяет смягчить суровость мушкетерки, самым сильным средством которой была моральная интерпретация. «Бог» – это слишком крайняя гипотеза.

115. Если наше очеловечение в каком-либо смысле может считаться действительно фактическим прогрессом, то только в том, что мы больше не нуждаемся в крайних противоположностях, вообще ни в каких противоположностях.

Мы приобрели право любить наши внешние чувства, мы во всех степенях и отношениях одухотворили их и сделали артистическими.

Мы приобрели право на все те вещи, которые до сих пор пользовались самой дурной славой.

116. Переворот в порядке рангов. – Фальшивомонетчики благочестия, священники, становятся для нас чандалой: они заняли место шарлатанов, знахарей, фальшивомонетчиков, кол-

⁵⁶ Иронический (*итал.*).

дунов: мы считаем их за развратителей воли, за величайших клеветников на жизнь и мстителей жизни, за возмутителей в среде неудачников. Из касты прислужников, судр, мы сделали наше среднее сословие, наш «народ», тех, кому мы вручили право на политические решения.

С другой стороны, прежняя чандала занимает верхи: впереди всех богохульники, имморалисты, всякого рода бродячий элемент, артисты, евреи, музыканты, в сущности вся ославленная публика.

Мы возвысились до честных мыслей, мало того, мы определяем, что такое честь на земле, «знатность». Мы все теперь – заступники за жизнь. Мы, имморалисты, теперь главная сила: другие великие власти нуждаются в нас. Мы строим мир по подобию своему.

Мы перенесли понятие «чандала» на священников, учителей потустороннего, и на сросшееся с ними христианское общество, с присоединением всего, имеющего одинаковое с ними происхождение, пессимистов, нигилистов, романтиков сострадания, преступников, людей порочных, – всю ту сферу, где изобретено было понятие «Бога» как Спасителя...

Мы гордимся тем, что нам уже не нужно быть лжецами, клеветниками, заподозревателями жизни.

117. Прогресс девятнадцатого столетия по отношению к восемнадцатому (в сущности мы, настоящие европейцы, ведем войну против восемнадцатого столетия):

1) «возврат к природе» все решительнее понимается в смысле прямо противоположном тому, который придавал этому термину Руссо; – прочь от идиллии и от оперы!

2) все решительнее – антиидеализм, объективность, бесстрашие, трудолюбие, чувство меры, недоверие к внезапным переменам, антиреволюционность;

3) все более серьезная постановка на первое место вопроса о здоровье тела, а не о здоровье «души»; последняя понимается как некоторое состояние, обусловленное первым, первое по меньшей мере как первоусловие здоровья души.

118. Если что и достигнуто, так это – более беззаботное отношение к нашим внешним чувствам, более радостное, благорасположенное, гётевское отношение к чувственности вообще; равным образом – более гордое чувство по отношению к познанию: «чистый глупец» встречает мало веры в себя.

119. Мы – «объективные». То не сострадание, что отверзает нам врата к наиболее отдаленным и чуждым нам формам бытия и культуры, но наша доступность, непредвзятость, которая именно не страдает, но напротив того – находит интерес и забаву в тысяче вещей, от которых прежде страдали (которые возмущали, которыми поражались, или на которые смотрели враждебно и холодно). Страдание во всех его оттенках нам теперь интересно: но от этого мы, конечно, не являемся более сострадательными, даже в том случае, если созерцание страдания до глубины души потрясает нас и трогает нас до слез – мы из-за этого решительно не приходим в настроение большей готовности на помощь.

В этом добровольном желании созерцания всякого рода нужды и проступков мы окрепли и выросли в силе, по сравнению с восемнадцатым веком; это – доказательство роста нашей мощи (мы приблизились к XVII и XVI столетиям). Но было бы глубоким недоразумением рассматривать нашу «романтику» как доказательство нашей «более прекрасной души». Мы стремимся к сильным *sensations*⁵⁷, как к тому же стремились все слои народа во все более грубые времена. (Это надо тщательно отличать от потребности слабых нервами и декадентов, у которых мы видим потребность в перце, даже жестокость).

Мы все ищем таких состояний, к которым бы не примешивалась более буржуазная мораль, а еще того менее поповская мораль (каждая книга, от которой еще веет пасторским и богословским воздухом, производит на нас впечатление достойной сожаления *piaiserie*⁵⁸ и

⁵⁷ Ощущения (*фр.*).

⁵⁸ Глупости (*фр.*).

бедности). «Хорошее общество» это такое общество, где в сущности ничем не интересуются, кроме того, что запрещено в буржуазном обществе и что пользуется там дурною славою; так же обстоит дело и с книгами, музыкой, политикой, оценкой женщины.

120. Приближение человека к природе в XIX столетии (восемнадцатый век – столетие элегантности, тонкости, *des sentiments généreux*⁵⁹). Не «возврат к природе», ибо еще никогда не бывало естественного человечества. Схоластика неестественных и противоестественных ценностей, вот – правило, вот – начало; к природе человек приходит после долгой борьбы, никогда не возвращается к ней назад. Природа – это значит решиться быть столь же неморальным, как природа.

Мы грубее, прямее, мы полны иронии к великодушным чувствам, даже когда мы сами подпадаем под их власть.

Естественнее стало наше высшее общество – общество богатых, праздных: люди охотятся друг на друга, половая любовь – род спорта, в котором брак играет роль препятствия и приманки, развлекаются и живут ради удовольствия; на первое место выдвинуты телесные преимущества; развито любопытство и смелость.

Естественнее стало наше отношение к познанию; мы с чувством полной непорочности предаемся распутству духа, мы ненавидим патетические и гиератические манеры, мы находим себе забаву в самых запретных вещах, у нас едва ли был бы еще какой-либо интерес к познанию, если бы по дороге к нему мы принуждены были скучать.

Естественнее стало наше отношение к морали. Принципы стали смешными; никто более не решается без иронии говорить о своем «долге». Но ценится готовый на помощь доброжелательный строй души (мораль видят в инстинкте и пренебрегают остальными ее основами, кроме разве нескольких понятий по вопросам чести).

Естественнее стало наше положение *in politicis*⁶⁰: мы усматриваем проблемы мощи, некоторой *quantum*⁶¹ силы, относительно другого *quantum*'а. Мы не верим в право, которое бы не покоилось на силе отстоять себя, мы ощущаем все права как завоевания.

Естественнее стала наша оценка великих людей и вещей: мы считаем страсть за преимущество; мы не признаем великим ничего, к чему бы не примешивалось и великого преступления; мы воспринимаем всякое величие как постановку себя вне круга морали.

Естественнее стало наше отношение к природе: мы уже не любим ее за ее «невинность», «разумность», «красоту»; мы ее таки порядком «одьяволили» и «оглупили». Но вместо того, чтобы презирать природу за это, мы стали чувствовать себя в ней больше «дома», она стала нам как-то роднее. Она не претендует на добродетель, мы уважаем ее за это.

Естественнее стало наше отношение к искусству: мы не требуем от него прекрасных вымыслов и т. п.; царит грубый позитивизм, который констатирует реальность, сам не возбуждаясь. *In summa* стали заметны признаки того, что европеец XIX столетия менее стыдится своих инстинктов; он сделал добрый шаг к тому, чтобы когда-нибудь признаться себе в своей безусловной естественности, то есть имморальности, без всякой горечи: напротив того – с сознанием возможности вынести лицемерие этой истины.

Для некоторых сказанное будет звучать как утверждение, что испорченность шагнула вперед, и действительно человек приблизился не к «природе», о которой говорит Руссо, не сделал лишнего шага вперед к той цивилизации, которую он отвергал. Мы возросли в силе, мы опять ближе подошли к XVII веку, а именно ко вкусам, установившимся в конце его (Данкур, Лесаж, Реньяр).

⁵⁹ Щедрых чувств (*фр.*).

⁶⁰ В политике (*лат.*).

⁶¹ Некоторое количество (*лат.*).

121. Культура *contra*⁶² цивилизация. Высшие точки подъема культуры и цивилизации не совпадают: не следует обманываться в вопросе о глубочайшем антагонизме между культурой и цивилизацией. Великие моменты культуры всегда были, морально говоря, эпохами испорченности; и с другой стороны, эпохи преднамеренного и насильственного укрощения зверя-человека (цивилизации) были временами нетерпимости по отношению к наиболее духовным и наиболее смелым натурам. Цивилизация желает чего-то другого, чем культура – быть может даже чего-то прямо противоположного.

122. От чего я предостерегаю?

От смешения инстинктов декаданса с гуманностью;

От смешения разлагающих и необходимо влекущих к декадансу средств цивилизации с культурой;

От смешения распущенности и принципа «laissez aller»⁶³ с волей к власти (она представляет из себя прямо противоположный принцип).

123. Нерешенные проблемы, вновь поставленные мною: проблема цивилизации, борьба между Руссо и Вольтером около 1760-го. Человек становится глубже, недоверчивее, «аморальнее», сильнее, самоувереннее, и постольку «естественнее». Это прогресс. При этом, путем известного разделения труда, отделяются озлобленные слои от смягченных, обузданных, так, что общий факт этого отделения не так-то легко бросается в глаза. Из самой природы силы, власти над собою и обаяния силы вытекает то, что эти более сильные слои овладевают искусством принудить всех видеть в их озлоблении нечто высшее. Всякий «прогресс» сопровождается истолкованием возросших в силе элементов «добра».

124. Возвратить людям мужество их естественных инстинктов.

Препятствовать их низкой самооценке (не обесценению в себе человека как индивида, а человека как природы).

Устранить из вещей противоположности, постигнув, что мы сами вложили их в вещи.

Устранить вообще из жизни идиосинкразию общественности (вина, наказание, справедливость, честность, свобода, любовь и т. д.).

Движение вперед к «естественности»: во всех политических вопросах, также и во взаимоотношении партий, – даже меркантильных, рабочих или работодательских партий – дело идет о вопросах мощи: «что я могу» – и лишь затем, как вторичное – «что я должен».

125. Социализм, как до конца продуманная тирания ничтожнейших и глупейших, то есть поверхностных, завистливых, на три четверти актеров – действительно является конечным выводом из «современных идей» и их скрытого анархизма, но в тепловатой атмосфере демократического благополучия слабеет способность делать выводы, да и вообще приходиться к какому-либо определенному концу. Люди плывут по течению, но не делают заключений. Поэтому, в общем, социализм представляется кисловатой и безнадежной вещью; и трудно найти более забавное зрелище, чем созерцание противоречия между ядовитыми и мрачными физиономиями современных социалистов и безмятежным бараньим счастьем их надежд и пожеланий. А о каких жалких придавленных чувствах свидетельствует хотя бы один их стиль! Однако при всем том, они могут во многих местах Европы перейти к насильственным актам и нападениям; грядущему столетию предстоит испытать по местам основательные «колики», и Парижская коммуна, находящая себе апологетов и защитников даже в Германии, окажется, пожалуй, только легким «несварением желудка» по сравнению с тем, что предстоит. Тем не менее собственников всегда будет более чем достаточно, что помешает социализму принять характер чего-либо большего, чем приступа болезни; а эти собственники как один человек держатся той веры, «что надо иметь нечто, чтобы быть чем-нибудь». И это – старейший и самый

⁶² Против (*лат.*).

⁶³ Небрежности (*фр.*).

здоровый из всех инстинктов; я бы прибавил: «нужно стремиться иметь больше, чем имеешь, если хочешь стать чем-либо большим». Так говорит учение, которое сама жизнь проповедует всему, что живет – мораль развития. Иметь и желать иметь больше, рост, одним словом, – в этом сама жизнь. В учении социализма плохо спрятана «воля к отрицанию жизни»: подобное учение могли выдумать только неудавшиеся люди и расы. И в самом деле, мне бы хотелось, чтобы на нескольких больших примерах было показано, что в социалистическом обществе жизнь сама себя отрицает, сама подрезает свои корни. Земля достаточно велика, и человек все еще недостаточно исчерпан, чтобы такого рода практическое поучение и *demonstratio ad absurdum*⁶⁴ представлялись мне нежелательным и, даже в том случае, если бы они могли достичь своей цели лишь ценою затраты огромного количества человеческих жизней. Как бы то ни было, но пусть и в качестве беспокойного крота под почвою погрязшего в своей глупости общества социализм может представить нечто полезное и целительное; он замедляет наступление «на земле мира» и окончательное проникновение добродушием демократического стадного животного, он вынуждает европейцев к сохранению достаточного ума, то есть хитрости и осторожности, удерживает их от окончательного отказа от мужественных и воинственных добродетелей, – он до поры до времени защищает Европу от угрожающего ей *marasmus femininus*⁶⁵.

126. Наиболее удачные задержки и лекарства современности:

- 1) общая воинская повинность с настоящими войнами, при которых не до шутки;
- 2) национальная ограниченность (упрощающая, концентрирующая);
- 3) улучшенное питание (мясо);
- 4) все более чистые и здоровые жилища;
- 5) преобладание физиологии над теологией, моралистикой, экономикой и политикой;
- 6) воинская суровость в требовании и исполнении своих «обязанностей» (более не захваливать людей).

127. Меня радует военное развитие Европы, а также анархизм во внутренних состояниях – пора покоя и китайщины, которую Гальяни предсказывал применительно к этому столетию, прошла. Личная мужественная деятельность, крепость тела вновь приобретают ценность, оценки приобретают более физический характер. Прекрасные мужи становятся вновь возможными. Бледное ханжество (с Мандаринами во главе) отжило свой век. В каждом из нас сказано варвару «да», также – и дикому зверю. Именно поэтому от философов теперь можно ждать большего. Кант со временем еще станет пугалом для птиц.

128. Есть ли основания к унынию? Кто сохранил и воспитал в себе крепкую волю, вместе с широким умом имеет более благоприятные шансы возвышения, чем когда-либо. Ибо способность человека массы быть дрессируемым стала весьма велика в этой демократической Европе; люди, легко обучающиеся, легко управляемые, представляют правило; стадное животное, подготовлено, и оно даже весьма интеллигентно. Кто может повелевать, находит таких, которые должны подчиняться: из повелевающих я имею в виду, например Наполеона и Бисмарка. Конкуренция с сильной неинтеллигентной волей, которая служит главнейшим препятствием к управлению людьми, незначительна. Кто ж не справится с этими господами «объективными», слабыми волей, вроде Ранке или Ренана!

129. Духовное просвещение – вернейшее средство сделать людей неустойчивыми, слабыми волей, ищущими сообщества и поддержки, короче, средство развить в человеке стадное животное; вот почему до сих пор великие правители-художники и собственно правления (Конфуций в Китае, Наполеон, *imperium Romanum*, Папство в те времена, когда оно было обращено к власти, а не только к миру), то есть те и то, в ком и в чем сумели достичь своего кульминаци-

⁶⁴ Доказательство от бессмыслицы (*лат.*).

⁶⁵ Женского маразма (*лат.*).

онного пункта господствующие инстинкты, ставили и на духовное просвещение, по меньшей мере представляли ему свободу действия (как папы Ренессанса).

Самообман толпы по этому вопросу, что, например, имеет место во всей демократии – в высшей степени ценен: к измельчанию человека и к приданию ему большей гибкости в подчинении всякому управлению стремятся, видя в том «прогресс»!

130. Высшая справедливость и кротость как состояние ослабления (Новый Завет и первоначальная христианская община, являющаяся полной *bêtise*⁶⁶ у англичан, Дарвина, Уоллеса). Ваша справедливость, о высшие натуры, гонит вас к *suffrage universel*⁶⁷ и т. п., ваша человечность – к кротости по отношению к преступлению и глупости. С течением времени вы приведете этим путем глупость и необдуманность к победе: довольство и глупость – векторность этого пути.

С внешней стороны – столетие необычайных войн, переворотов, взрывов. С внутренней стороны – все большая слабость людей, события как возбудители масс. Парижанин как европейская крайность.

Следствия: 1) варвары (сначала, конечно, под видом старой культуры); 2) державные индивиды (там, где варварские массы сил скрещиваются с несвязанностью по отношению ко всему прежде бывшему). Эпоха величайшей глупости, грубости и ничтожества масс, а также эпоха высших индивидов.

131. Бесчисленное множество индивидов высшей породы гибнут теперь, но кто уцелел, тот силен, как черт. Нечто подобное было во времена Ренессанса.

132. Что отличает нас, действительно хороших европейцев, от людей различных отечеств, какое мы имеем перед ними преимущество? Во-первых, мы – атеисты и имморалисты, но мы поддерживаем религии и морали стадного инстинкта, дело в том, что при помощи их готовится порода людей, которая когда-нибудь да попадет в наши руки, которая должна будет восхотеть наших рук.

Мы по ту сторону добра и зла, но мы требуем безусловного признания святости стадной морали.

Мы оставляем за собой право на многообразные виды философии, в распространении которой может оказаться надобность; таковой, при случае, может быть пессимистическая философия, играющая роль молота; европейский вид буддизма тоже, при случае, может оказаться полезным.

Мы будем, по всем вероятностям, поддерживать развитие и окончательное созревание демократизма: он приводит к ослаблению воли; на социализм мы смотрим как на жало, предотвращающее возможное душевное усыпление и леность.

Наше положение по отношению к народам. Наши предпочтения, мы обращаем внимание на результаты скрещивания.

Мы – в стороне, имеем известный достаток, силу; ирония по отношению к «прессе» и уровню ее интеллектуальности. Забота о том, чтобы люди науки не обратились в литераторов. Мы относимся презрительно ко всякому образованию, совместимому с чтением газет и в особенности – с сотрудничеством в них.

Мы выдвигаем на первый план наше случайное положение в свете (как Гёте, Стендаль), а также внешние события нашей жизни и подчеркиваем это, чтобы ввести в обман относительно наших скрытых планов. Сами мы выжидаем и остерегаемся связывать с этими обстоятельствами нашу душу. Они служат нам временным пристанищем и кровом, в которых нуждаются и которые приемлют странники, мы остерегаемся в них приживаться.

⁶⁶ Глупость (*фр.*).

⁶⁷ Всеобщему избирательному праву (*фр.*).

Мы имеем преимущество перед нашими собратьями – людьми *disciplina voluntatis*⁶⁸. Вся наша сила тратится на развитие силы воли, искусства, позволяющего нам носить маски, искусства разума по ту сторону аффектов (а также мыслить «сверхъевропейски», до поры до времени).

Приготовление к тому, чтобы стать законодателями будущего, владыками земли; по меньшей мере к тому, чтобы этим стали наши дети. Принципиальное внимание, обращенное на браки.

133. Двадцатый век. Аббат Гальяни говорит где-то: «*La prévoyance est la cause des guerres actuelles de l'Europe. Si l'on voulait se donner la peine de ne rien prévoir, tout le monde serait tranquille, et je ne crois pas qu'on serait plus malheureux parce qu'on ne ferait pas la guerre*»⁶⁹. Так как я нимало не разделяю миролюбивых воззрений моего покойного друга Гальяни, то я и не боюсь кое-что предсказать и таким образом, быть может, подать повод к появлению признака войны. Страшнейшее землетрясение вызовет и огромную потребность одуматься, а вместе с тем возникнут новые вопросы.

134. Настало время великого полдня, ужасающего просветления: мой род пессимизма – великая исходная точка.

I. Коренное противоречие в цивилизации и в возвышении человека.

II. Моральные оценки как история лжи и искусство клеветы на службе у воли к власти (стадной воли, восставшей против более сильных людей).

III. Условия всякого повышения культуры (возможность отбора за счет толпы) суть условия роста вообще.

IV. Многозначительность мира как вопрос силы, которая рассматривает все вещи под перспективой их роста. Морально-христианские суждения ценности как восстание рабов и рабская лживость (по сравнению с аристократическими ценностями античного мира).

⁶⁸ Воля к учению (*лат.*).

⁶⁹ Предусмотрительность – причина теперешних европейских войн. Если бы только дали себе труд ничего не предусматривать, все бы были спокойны, и я не думаю, чтобы от этого более несчастливы, потому что бы не воевали (*фр.*).

Книга вторая

Критика прежних высших ценностей

I. Критика религии

Всю красоту и возвышенность, которые мы придали вещам наяву и в нашей фантазии, я хочу затребовать назад как достояние и изделие человека, как прекраснейшую его апологию. Человек как поэт, как мыслитель, как бог, как любовь, как могущество – восхитимся той поистине царской щедростью, с которой он одаривал вещи, и все для того, чтобы обеднить себя и себя почувствовать несчастным! До сей поры это было величайшее его самоотречение – то, что он, поклоняясь и обожествляя, сам старался уйти в тень, что это он сам создал все, чему поклонялся и что обожествлял.

1. К возникновению религии

135. О происхождении религии. – Точно так же, как в наши дни человек необразованный верит в то, что его гнев – причина того, что он гневается, его ум – причина того, что он думает, его душа – причина того, что он чувствует, короче, точно так же, как и по сей день множество психологических сущностей совершенно бездумно ставится на место их причин, – точно так же на еще более наивной стадии своего развития человек объяснял себе те же явления с помощью персонифицированных психологических сущностей. Состояния, которые казались ему чуждыми, захватывающими, неподвластными, он истолковывал как одержимость колдовскими чарами и могуществом какой-то личности. Так, христианин – а в наши дни это самый наивный и отсталый подвид человечества – объясняет чувство надежды, покоя, чувство «спасения» психологическим вдохновением, воздействием Бога: для него, как типа в существенной мере страдающего и беспокойного, все чувства счастья, покоя и согласия с бытием предстают, понятное дело, как нечто чуждое и требующее разъяснения. У представителей более умных, сильных и жизнелюбивых рас убеждение в воздействии чуждой силы связано прежде всего с эпилепсией; но и всякие иные родственные проявления несвободы, как то: одержимость энтузиаста, поэта, великого преступника, одержимость страстями вроде любви и мести – тоже служат делу изобретения нечеловеческих сил. Такое состояние конкретизируют, сопрягая его с какой-либо личностью, и начинают утверждать, что такое состояние, когда оно наступает, есть, мол, результат воздействия этой личности. Иными словами: в психологии образования божества состояние, чтобы стать воздействием, персонифицируется как причина.

Психологическая логика здесь такая: чувство могущества, когда оно овладевает человеком внезапно и необоримо, – а это случается при всех сильных аффектах, – возбуждает в человеке сомнение в своей личности: он не осмеливается помыслить себя причиной этого удивительного чувства, – и тогда он подставляет вместо себя более сильную личность, то есть божество.

In summa⁷⁰: происхождение религии следует искать в крайних чувствах могущества, которые застигают человека врасплох как проявления чуждой силы – и тогда, подобно больному, которому какая-нибудь его конечность кажется тяжелой, как бы не своей, и он думает, будто его придавил другой человек, наивный homo religiosus⁷¹ начинает раскладывать себя на несколько личностей. Религия – это своеобразный случай «*altération de la personnalité*»⁷². Своего рода чувство боязни и страха перед самим собой. . . Но также и чувство необычайного счастья и подъема. . . В среде больных достаточно чувства здоровья, чтобы поверить в бога, в приближение божества.

136. Рудиментарная психология религиозного человека: все изменения для него суть воздействия внешних сил, а они – суть проявления воли. Понятий «природа», «закон природы» для него не существует. Для всякого воздействия нужен субъект действия. Рудиментарная психология: себя самого мыслишь причиной лишь в том случае, если знаешь, что ты этого хотел.

Следствие: состояния могущества внушают человеку чувство, что не он есть тому причина, он не несет за это ответственности: эти состояния наступают помимо нашего желания, следовательно, не мы их инициаторы: несвободная воля (то есть осознание перемены в нас, происшедшей помимо нашего желания) нуждается в чужой воле.

Вывод: человек не отваживался приписать себе все удивительные и сильные моменты своего существования, – он воспринимал их как «пассивные», как страдательные, как вмеща-

⁷⁰ В итоге (лат.).

⁷¹ Религиозный человек (лат.).

⁷² Расщепления личности (фр.).

тельства необоримой силы, – то есть религия есть порождение сомнения в единстве личности, *altération* личности; поскольку всякое величие и сила воспринимались как сверхчеловеческое, как чуждое, постольку человек себя преуменьшал, – он разложил две свои стороны, одну очень жалкую и слабую, другую – сильную и изумительную, – на две сферы; первую он назвал «человек», вторую – «Бог».

Так продолжалось всегда; во времена моральной идиосинкразии человек истолковывал для себя самые свои возвышенные и утонченные состояния не как «желаемые», не как производное своей личности. И христианин раскладывает свою личность на убогую и слабую фикцию, которую он именует человеком, и на другую, которую он величает Богом (Спасителем, Господом).

Религия унизила само понятие «человек»; самый последовательный ее вывод тот, что все доброе, великое, истинное – над-человечно и лишь даруется высшей милостью.

137. Другим путем вытянуть человека из того унижения, в которое повергает его отпадение возвышенных и сильных состояний как состояний чуждых, была теория родственности: эти возвышенные и сильные состояния можно было, по меньшей мере, истолковать как воздействие наших далеких предков, – получалось, что мы как бы вместе, заодно, мы вырастаем в наших собственных глазах, когда действуем по известному нам образцу, норме.

Попытки знатных семей создать противовес религии чувством собственного достоинства. – То же самое делают поэты и провидцы, они чувствуют себя гордцами, особо достойными, избранными для такого общения, – они придают особое значение тому, чтобы их принимали не как индивидуумов, а как чужие уста (Гомер).

Постепенно, шаг за шагом овладевать своими возвышенными и сильными состояниями, своими действиями и произведениями. – В прежние времена люди полагали честью доверять ответственность за высшие вещи, которые они совершали, не себе, но – Богу. – Несвобода воли – вот что придавало действию особую ценность: в ту пору причиной такого действия делали Бога...

138. Священники – это лицедеи сверхчеловеческого, чему они должны придавать наглядность: идеалам ли, божествам или спасителям; в этом они обретают свою профессию, к этому у них чутье; чтобы достичь в этом деле как можно большего правдоподобия, им приходится как можно дальше заходить в самоуподоблении; их актерские навыки прежде всего призваны пробуждать у них чувство чистой совести, а уж с этим чувством им легче убеждать других.

139. Священник добивается, чтобы в нем видели высший тип человека, он хочет властвовать, – даже и над теми, у кого в руках реальная власть; он хочет быть неуязвимым и вне нападков... хочет быть самой сильной властью в общине, которую невозможно ни заменить, ни переоценить.

Средство: он один сведущ; он один добродетелен; он один имеет над собой высшую власть; в известном смысле он один – бог и возвращается в божественное; он один есть посредник между богом и всеми прочими; божество покарает всякое нечестивое деяние, всякий скверный помысел, направленные против священника.

Средство: истина существует. Есть лишь один способ ее сподобиться – стать священником. Все, что есть доброго и хорошего в укладе вещей, в природе, в обычаях и нравах, – имеет отношение к мудрости священника. – Святое Писание – это их творение. А вся природа есть лишь исполнение Писания. Нет иного источника добра, кроме священника. Все иные виды доблестей, например доблесть воина, суть лишь иерархические производные от доблести священника.

Вывод: если священник и вправду высший тип человека, тогда градация к его добродетелям должна стать шкалой ценностей всех людей. – Ученые занятия, не-активность, бес-чувственность, без-аффектность, торжественность. – Противоположность: низший вид человека.

Священник всегда проповедовал только одну мораль: такую, при которой сам он воспринимается как высший тип. – Он же сам создает и образ своей противоположности – тип нечестивца. Всеми средствами делая его существом презренным и презираемым, он создает нужный фон для кастовой иерархии. – Его панический страх перед чувственностью обусловлен еще и пониманием, что тут кастовый порядок (а значит, порядок вообще) подвержен наилучшей угрозе... Всякая «вольность» *in puncto puncti*⁷³ подрывает брачное законодательство на корню.

140. Философ как продолжение священнического типа: воплощает то же наследие; он, сам еще соперник священнику, вынужден бороться за то же самое и теми же средствами, что и священник в свое время; он стремится являть собою высший авторитет.

Что придает человеку авторитет, ежели он не имеет в руках физической власти (то есть войска и вообще оружия...)? В особенности же: как завладеть авторитетом над теми, кто уже обладает реальным могуществом и авторитетом? Как составить конкуренцию тому почтению, которое внушает венценосец, победоносный воитель, мудрый государственный муж?

Только пробуждая в людях веру, что у тебя в руках еще более могучая сила, – а именно Бог. – Нет силы больше этой: а для общения с ней необходимы посреднические услуги священников. – Они в качестве незаменимого связующего звена встречаются между людьми и божеством; к необходимым условиям существования священников относится: 1. чтобы люди поверили только в их бога, в его абсолютное превосходство; 2. чтобы никаких иных прямых доступов к этому богу не было. – Одно только второе условие рождает понятие «гетеродоксии»; первое же создает понятие «неверующего» (того, кто верует в другого бога).

141. Критика святой лжи. – То, что ради богоугодных целей лгать дозволяется, неотъемлемо от теории любого священничества; предмет данного исследования должно стать, насколько это неотъемлемо от священнической практики.

Но и философы, как только они, лелея священнические задние мысли, вознамериваются посягнуть на руководство людьми, тотчас же присваивают себе право на ложь: Платон раньше всех. Самая великолепная из них – это двойная ложь, разработанная типично арийскими философами веданты: две системы, противоречащие друг другу во всех главных постулатах, но – в воспитательных целях, – взаимозаменяющие и дополняющие друг друга. Ложь одной должна создать предпосылки для того, чтобы истину другой вообще можно было расслышать...

Как далеко заходят в своей благочестивой лжи священники и философы? – Тут надобно спросить, какие у них есть предпосылки для воспитания, какие догмы им приходится изобретать, чтобы этим предпосылкам соответствовать?

Первое: они должны иметь на своей стороне власть, авторитет и безусловную достоверность.

Второе: они должны иметь в своих руках весь ход природы, дабы все, что бы с кем ни случилось, представало как нечто, обусловленное их законом.

Третье: они должны также иметь в своем распоряжении обширную сферу власти, недоступную контролю их подданных – как то: меры наказания в загробной жизни, вообще все «потустороннее», включая, разумеется, знание средств и путей достижения блаженства.

Им необходимо изъять из обращения понятие естественного хода вещей: поскольку же они люди умные и вдумчивые, они могут множество природных эффектов предрекать, – разумеется, как результат молитв или неукоснительного следования их закону... – Они могут также предписать множество вещей абсолютно разумных, – с той только поправкой, что источником этой мудрости им не дозволено называть опыт, эмпирию, а только откровение или плоды «сурового покаяния».

⁷³ В этом главном пункте (*лат.*).

Святая ложь, таким образом, принципиально направлена: на цель действия (на природную цель, когда познание ее разумом намеренно затушевывается; на моральную цель, когда в качестве цели выступает исполнение закона или богоугодность); на следствие действия (естественное следствие при этом толкуется как сверхъестественное и, для пущей убедительности, к нему присовокупляются обещания иных, недоступных контролю сверхъестественных последствий.)

Подобным образом создаются понятия добра и зла, полностью отторгнутые от обусловленных природой понятий «полезный», «вредный», «способствующий жизни», «сокращающий жизнь»; понятия эти, поскольку уже измышлена жизнь иная, могут быть даже враждебны природным представлениям о добре и зле.

Подобным образом создается, наконец, и пресловутая совесть – некий внутренний голос, который соизмеряет ценность всякого действия и поступка не с его последствиями, а с намерением и с тем, как это намерение согласуется с «законом».

Святая ложь, следовательно, изобрела карающего и воздающего бога, который в точности соблюдает законоуложения священников и именно их, в качестве своих глашатаев и уполномоченных, посылает в мир; изобрела потустороннюю жизнь, в которой только и мыслима во всем величии грандиозная машина наказаний, – а для этой цели изобрела и бессмертие души; – изобрела в человеке совесть как осознание того, что хорошо, а что плохо, как иллюзию того, что это сам бог говорит в нас, рекомендуя нам жить в согласии с предписаниями священников; – изобрела мораль как отрицание всякого естественного хода вещей, как сведение всего происходящего только к морально обусловленному, а воздействие морали (то есть идею кары и награды) объявила всепроникающей, единственной силой, творцом любых перемен; – истину объявила данностью, постигаемой в откровении, но совпадающей с учением священников, то есть условием всякого блага и счастья в этой и в той жизни.

In summa: чем оплачено моральное улучшение мира? – Отключением разума, сведением всех мотивов к страху и надежде (каре и награде); зависимостью от опекунов священников, от дотошного формализма, который притязает на то, чтобы быть выразителем божьей воли; прививкой человеку «совести», которая на место опыта и проверки ставит ложное знание: как будто во всех случаях уже заранее известно, что надо делать, а чего не делать, – то бишь своего рода кастрацией ищущего и устремленного вперед ума и духа. In summa: наисквернейшее ущемление человека, какое только можно себе представить, под видом якобы «доброты человека».

In grahi⁷⁴ весь разум, все наследие ума, изошренности, оглядки, которое является предпосылкой священнического канона, в итоге произвольно свелось к голой механике; только согласие с законом считается целью, высшей целью, – других проблем в жизни нет; вся картина мира испоганена идеей наказания... – сама жизнь, с учетом того, что жизнь священника представлена в ней как *non plus ultra*⁷⁵ совершенства, переосмыслена в клевету на жизнь и поругание ее... – понятие «бог» являет собой отвращение от жизни, критику и даже презрение жизни как таковой... – истина переосмыслена в священническую ложь, стремление к истине выродилось в изучение Писания, в средство стать теологом...

142. К критике законов ману. – Вся книга зиждется на святой лжи во спасение. Неужто это и есть человеческое благо, вдохновившее всю эту систему? Этот людской род, который верит в заинтересованность всякого действия и поступка, – был ли он заинтересован в том, чтобы претворить эту систему в жизнь? Улучшить человечество – чем вдохновлено это намерение? Откуда вообще взялось само это понятие улучшения?

⁷⁴ На практике (лат.).

⁷⁵ Верх (лат.).

Мы встречаем один вид людей, – священников, – которые чувствуют себя эталоном, вершиной, высшим проявлением человеческого типа: отталкиваясь от себя, они и выводят понятие «улучшения», они верят в свое превосходство, они на самом деле к нему стремятся: причина святой лжи – воля к власти...

Установление господства: ради этой цели господство понятий, которые в священнической среде выступают как *non plus ultra* власти – власти, построенной на лжи – с учетом того, что они не владеют властью физически, посредством военной силы... ложь как дополнение власти, – новое понятие «истины».

Будет ошибкой предположить здесь неосознанное и наивное развитие, своего рода самообман... Не неистовые фанатики изобретают столь продуманные системы угнетения... Здесь работал хладнокровнейший расчет, расчет того же свойства, что и у небезызвестного Платона, когда тот выдумывал свое «государство». – «Надо хотеть средств, если хочешь цели» – эту аксиому политиков уяснили себе все законодатели.

В качестве классического образца мы имеем специфически арийский: то бишь мы вправе наиболее оснащенную и щедро одаренную человеческую расу объявить ответственной за величайшую ложь, какая была на свете... А потом ее повторяли, почти все: арийское влияние испортило весь мир...

143. Сегодня много рассуждают о семитском духе Нового Завета: но то, что так именуют, на самом деле есть просто священнический дух, – а в законах ману, в этом арийском своде законов чистейшей расы, такого рода «семитизм», то бишь священнический дух, выражен отвратительнее, чем где бы то ни было еще.

Развитие иудейского священнического государства не оригинально: они эту схему освоили в Вавилоне; схема эта арийская. И если позднее та же схема, уже с преобладанием германской крови, доминировала в Европе, так это отвечало духу господствующей расы: великий атавизм. Германское Средневековье было нацелено на восстановление арийского кастового уклада.

Магометанство, опять-таки, у христиан училось: использование «потусторонней жизни» как карающего органа.

Неизменяемая схема человеческого сообщества со священничеством во главе: этот древнейший и великий культурный продукт Азии в деле организации, конечно же, должен был во всех отношениях побуждать к осмыслению и подражанию. – Еще Платон; но прежде всех египтяне.

144. Морали и религии – главное средство, при помощи которого из человека можно лепить что угодно: с той, правда, предпосылкой, что имеешь избыток творческих сил и можешь претворять в жизнь свою волю на протяжении длительных отрезков времени.

145. Как выглядит да-сказующая арийская религия, порождение господствующего класса: свод законов ману. (Обожествление чувства могущества в брахмане: интересно, что возникло оно в касте воинов и лишь затем перешло на священников.)

Как выглядит да-сказующая семитская религия, порождение господствующего класса: книга законов Магомета. Ветхий Завет в наиболее древних своих частях. Магометанство, как религия для мужчин, питает глубокое презрение к сентиментальности и лживости христианства... бабской религии, каковой ее ощущает магометанин.

Как выглядит нет-сказующая семитская религия, порождение угнетенных классов: по индийско-арийским понятиям – это Новый Завет, религия низшей касты.

Как выглядит нет-сказующая арийская религия, взросшая среди господствующих сословий: буддизм.

Это совершенно в порядке вещей, что у нас нет религий угнетенных арийских рас, ибо это было бы противоречием: господствующая раса либо наверху, либо она гибнет.

146. Сама по себе религия не имеет ничего общего с моралью: но оба отводка иудейской религии по сути своей есть моральные религии, то есть такие, которые дают предписания, как надо жить, и посредством кары и награды добиваются послушания своим требованиям.

147. Языческое – христианское. Языческое – это да-сказание естественному, чувство невинности в природном, сама «естественность».

Христианское – это нет-сказание естественному, чувство постыдности, недостойности в естественном, то есть противоестественность.

«Невинен», к примеру, Петроний: христианин по сравнению с этим счастливец утратил невинность раз и навсегда.

Но поскольку в конечном счете и христианский статус вынужден являть собой всего лишь природное состояние, не смея, однако, себя таковым помыслить, христианское означает возведенную в принцип подмену психологической интерпретации...

148. Христианский священник с самого начала заклятый враг чувственности: невозможно помыслить себе большей противоположности ему, чем невинная, но полная предчувствия торжественность, с которой, например, в самых почетных женских культах Афин воспринималось наличие детородных символов. Акт зачатия есть сам по себе таинство во всех неаскетических религиях: это своего рода символ завершенности бытия и таинственности замысла, то есть будущего (возрождения, бессмертия).

149. Вера – это тяжчайшие наши оковы, злейший удар бича – но и самое могучее крыло наше. Христианству следовало бы провозгласить догматом веры невинность человека – и люди стали бы богами; в ту пору еще умели верить.

150. Величайшая ложь в истории – утверждение, будто бы обреченность и растленность язычества проложили дорогу христианству! Нет, это было ослабление и обрастание моралью человека Античности! Переосмысление природных влечений в пороки произошло гораздо раньше!

151. Религии гибнут от веры в мораль: христианско-моральный бог не выдерживает критики, как следствие – «атеизм», как будто не может быть богов никакой другой разновидности.

Точно так же от веры в мораль гибнет и культура: ибо стоит лишь открыть необходимые условия, из которых только она и произрастает, как их сразу никто больше не хочет: буддизм.

152. Физиология нигилистических религий. – Нигилистические религии все в совокупности – систематизированные истории болезни под одной религиозно-моральной рубрикой.

В языческом культе в центре всегда годичный цикл, вокруг истолкования которого весь культ и строится. В христианском культе в центре – круговорот паралитических феноменов, вокруг которых и строится весь культ...

153. Эта нигилистическая религия выискивает для себя в древности элементы декаданса и родственное ему, а именно:

а) разряд слабых и неудачников... (отбросы античного мира, то, что этот мир яростней всего от себя отталкивал...);

б) разряд обросших моралью и антиязыческих...

с) разряд политически усталых и индифферентных (пресыщенные римляне...), лишенных национальности, которым осталась одна пустота;

д) разряд тех, кто сам себе надоел, – тех, кто охотно участвует в создании подземного заговора.

154. Будда против «распятого». – Внутри нигилистических религий все еще можно отчетливо различать между христианской и буддистской: буддистская выражает настроения прекрасного вечера, источает совершенную сладость и мягкость, – она включает в себя благодарение за все, что оставлено позади, и ей недостает горечи, разочарования, коварства; наконец, у нее уже позади и высокая духовная любовь, утонченность физиологического противо-

речия, она и от этого отдыхает, но еще сохранила их духовный нимб и тепло солнечного заката. (Происхождение из высших каст.)

Христианское движение есть движение вырождения, составляющееся из отбросов и отребья всех мастей: оно не выражает упадок расы, оно изначально являет собой агрегатную смесь из кишачих и тянущихся друг к другу болезненных образований... Именно поэтому оно не национально и не обусловлено расой; оно обращается к лишенцам по всему свету – и в глубине таит злость против всего господствующего и удачливого, ему нужен символ, представляющий собою проклятье против всего удачливого и господствующего... оно стоит в оппозиции и ко всякому духовному движению, к любой философии, оно берет сторону идиотов и изрыгает проклятье против ума и духа. Злость к одаренным, ученым, духовно и умственно независимым – оно угадывает в них урожденную удачливость и повелительность.

155. В буддизме преобладает вот такая мысль: «Все вожеления, все, что возбуждает аффекты и кровь, – все это влечет нас к действиям», – и лишь постольку, поскольку все это побуждает к действию, человека предостерегают от зла. Ибо действие – это нечто бессмысленное, действие зиждется в существовании, а всякое существование лишено смысла. Они видят в зле повод к чему-то нелогичному, к согласию со средствами, цель которых отрицается. Они ищут путь к не-бытию и поэтому отвергают все поводы со стороны аффектов. Например: не мстить! не враждовать! – высший масштаб задает здесь гедонизм усталости. Ничто так не чуждо буддисту, как иудейский фанатизм, допустим, Павла, ничто так не претило бы его инстинктам, как это напряжение, пламя, неистовство в религиозном человеке, а прежде всего любая форма чувственности, которую христианство освятило под именем «любви». К тому же в буддизме обретают себя по преимуществу образованные и даже сверхтонченные сословия – раса, иссушенная и изможденная многовековой философской борьбой, однако не пребывающая ниже уровня всякой культуры, как те слои, из которых возникает христианство... В идеале буддизма существенным представляется также освобождение и от добра и зла: там измышлена рафинированная потусторонность от морали, совпадающая с сущностью совершенства – да еще и с той предпосылкой, что даже добрые дела там необходимы лишь временно, просто как средство, а именно средство освобождения от всякого действия.

156. Нигилистическая религия (вроде христианства), возникшая из недр старческого и упрямого, пережившего все свои сильные инстинкты народа и такому народу созвучная, – шаг за шагом переносимая на другие слои и наконец вступающая в обиход молодых, толком еще и не живших народов, очень странно! Пастушеское блаженство заката, вечера, конца, проповедуемое варварам, германцам! Как же все это нужно было сперва германизировать, варваризировать! Для тех, кто грезили о Валгалле... кто высшим счастьем почитали войну!

Наднациональная религия, насаждаемая в некий хаос, где даже наций еще не было...

157. Средство опровержения религий и священников всегда только одно: показывать, что их заблуждения перестали быть благом, – что они приносят больше вреда, короче, что их собственное «доказательство силы» не имеет больше силы...

2. К истории христианства

158. Христианство (как историческую реалию) не следует путать с тем Единым корнем, о котором оно напоминает своим наименованием: другие корни, из которых оно выросло, были куда мощнее; то, что такие продукты распада, такие уродливые образования, как «христианская церковь», «христианская вера» и «христианская жизнь», осенили себя столь святым именем, есть чудовищное и беспрецедентное непотребство. Что отрицал Христос? – Да все, что сегодня именуются христианским.

159. Все христианское учение о том, во что следует верить, вся христианская «истина» есть сплошной и подлый обман; это прямая противоположность тому, что положило начало движению христианства...;

ибо именно то, что сейчас в церковном смысле объявляется христианским, оказывается заведомо антихристианским: сплошь предметы и личности вместо символов, сплошная история вместо вечных фактов, сплошные формулы, ритуалы и догмы вместо практики жизни. Христианство – это на самом деле полное безразличие к догмам, культуре, священникам, церкви, теологии.

Практика христианства – это не дурацкие измышления, точно так же, как и практика буддизма: это средство быть счастливым...

160. Иисус прямо и сразу устремлен к этому состоянию, «царствию небесному» в сердце, и не находит средств к нему в установлениях иудейской церкви – он даже и с самим существованием иудейства (с его понуждением к самосохранению) не желает считаться; он всецело принадлежит душе.

Точно так же не придает он никакого значения всем примитивным формулам в общении с богом: он решительно отвергает учение о покаянии и примирении; он показывает, как надо жить, чтобы чувствовать себя «обожествленным» – и как прийти к этому состоянию не через покаяние и самоуничтожение; «ничего нет в грехе» – главный его тезис.

Грех, покаяние, прощение – это все не отсюда... это примеси иудейства, или пришло от язычества.

161. Царствие небесное – это состояние сердца. (О детях говорится, что их «есть Царство Небесное»); это не нечто, находящееся «над землей». Царство Божие «грядет» не хронологически-исторически, не по календарю, это не есть нечто такое, что сегодня настанет, а вчера еще его не было: но это есть «изменение чувства в отдельном человеке», нечто, что может в любое время прийти и в любое же время еще не настать...

162. Разбойник на кресте: – когда даже преступник, претерпевающий мучительную смерть, говорит: «Так, как страдает и умирает этот Иисус, без гнева, без вражды, покойно и преданно, – только такая смерть и есть правильная», – он этими словами принимает Евангелие и тем самым уже обретает рай...

163. Заповеди Иисуса: Тому, кто зол к нам, не противиться ни делом, ни сердцем.

Не признавать никаких причин для развода с женою своею.

Не делать различий между чужими и своими, чужестранцами и соплеменниками.

Нельзя ни на кого гневаться, нельзя никого унижать... Милостыню творить тайно... не стремиться к обогащению. – Не клясться. – Не судить. – Мириться и прощать. Не молиться напоказ.

«Блаженство» не есть нечто обетованное: оно здесь, в тебе, если жить и поступать так-то и так-то.

164. Позднейшие привнесения. – Все фокусы с пророчествами и чудесами, гнев, накливание суда на головы грешников, – все это отвратительные искажения (например, от Марка, 6,11: «И если кто не примет вас... Истинно говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре в

день суда...» и т. д. ...). История со смоковницей (от Матфея, 21, 18): «Когда же поутру возвращался он в город, то взалкал. И увидев при дороге смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя, одни только листья, говорит ей: „Да не будет отныне и впредь от тебя плода никакого!“ И смоковница тотчас же засохла».

165. Совершенно абсурдным образом сюда же примешано учение о награде и наказании – и этим все испорчено.

Точно так же практика первой *ecclesia militans*⁷⁶ апостола Павла и все его поведение совершенно ошибочным образом изображены как предписанные, как предустановленные заранее.

Возвеличение задним числом действительной жизни и проповедей первых христиан: словно это все так было предписано... и лишь исполнялось...

А уж тем паче осуществление предсказаний: чего только тут не фальсифицировали и не подделали ради этого!

166. Иисус противопоставил действительную жизнь, жизнь в истине, – тогдашней обычной жизни: ничто так не чуждо ему, как неуклюжая бессмыслица «увековеченного Петра», вообще пребывания в вечности всех персонажей этой истории. Он ведь борется как раз с выпячиванием и зазнайством «личности» – так с какой же стати он будет желать ее увековечить?

Точно так же борется он и против иерархии внутри общины; не сулит никому вознаграждения в соответствии с его «вкладом» – как же, в таком случае, мог он полагать награду и наказание в потустороннем мире!

167. Христианство – это наивный придаток к буддистскому движению за мир, возникший прямо из горнила вражды... но перетолкованный Павлом в языческое учение о мистерии, которое в итоге научается ладить со всей государственной организацией... и ведет войны, приговаривает, пытает, клянется, ненавидит.

Павел исходит из потребности несметной, религиозно-возбужденной массы в мистерии: он ищет жертву, кровавую фантазмагорию, которая могла бы выдержать конкуренцию с картинами местного тайного культа: бог на кресте, испытание крови, *unomystica*⁷⁷ с «жертвой».

Он пытается привести продолжающееся бытие (блаженное, безгреховное дальнейшее существование отдельной души) как ее воскрешение из мертвых в каузальную связь с жертвой (по образцу Диониса, Митры, Осириса).

Ему необходимо выдвинуть на первый план понятия вины и кары, то есть не новую жизненную практику (как являл и проповедывал ее сам Иисус), но новый культ, новую веру в превращение, равносильное чуду (в «спасение» через веру).

Он распознал великую потребность языческого мира и, дав совершенно произвольную подборку фактов жизни и смерти Христа, переставив акценты, повсюду сместив центр тяжести... он исконное христианство по сути аннулировал...

В итоге покушение на священников и theologов вылилось благодаря Павлу в новое священничество и в новую теологию – в господствующее сословие, а также и в церковь.

Покушение на непомерное зазнайство «личности» обернулось в итоге верой в «вечную личность» (заботой о «вечном спасении»...), парадоксальнейшим перегибом личностного эгоизма.

В том-то и юмор всего этого дела, трагический юмор: Павел с невероятным размахом снова нагромоздил то, что Христос своей жизнью аннулировал. И наконец, когда церковь готова, она берет под свое покровительство даже существование государства...

168. Церковь являет собой именно то, против чего проповедовал Иисус – и против чего он наставлял бороться своих учеников.

⁷⁶ Церковь воинствующая (лат.).

⁷⁷ Таинство слияния (лат.).

169. Никакой бог не умер за наши грехи; никакого спасения в вере; никакого воскрешения после смерти – это все подлоги и фальсификации того «истинного» христианства, ответственность за которые следует возложить на неисправимого упряма Павла.

Образцовая жизнь заключается в любви и смирении; в полноте сердца, которая не отталкивает и самого последнего человека; в безусловном и полном отказе от желания настоять на своей правоте, от защиты, от победы в смысле личного триумфа; в вере в блаженство здесь, на земле, вопреки беде, сопротивлению и смерти; в примирительности, в отсутствии гнева, презрения; в неискательстве награды; в несвязывании никого признательностью; изощреннейшее духовно-умственное бессребреничество; очень гордая жизнь, подчиненная воле к жизни бедной, жизни-служению.

После того, как церковь отреклась от всей христианской практики и совершенно недвусмысленно санкционировала жизнь в государстве, то есть именно тот образ жизни, против которого Иисус боролся, который он осуждал, ей пришлось вложить смысл христианства куда-то еще: в веру в неправдоподобные вещи, в церемониал молитвы, в поклонение, праздники и т. д. Понятия «грех», «прощение», «наказание», «воздаяние», – в первохристианстве совершенно несущественные, почти исключенные из обихода, выходят теперь на первый план.

Жуткая мешанина из греческой философии и иудейства; аскетизм; непрерывные судилища и осуждения; иерархия рангов.

170. Христианство с самого начала все символическое променяло на примитив:

1. антитезу «истинная жизнь» – «ложная жизнь» превратно истолковала как противопоставление «посюсторонняя жизнь» и «потусторонняя жизнь»;

2. понятие «вечная жизнь», противопоставляемое бренности личной жизни, переделали в «личное бессмертие»;

3. побратание по еврейско-арабской традиции через благодать совместной трапезы, еды и питья, стало «таинством причастия»;

4. «воскресение» – как вхождение в «истинную жизнь», как «новое рождение» – отсюда: условность истории, наступающая когда-то после смерти;

5. учение о сыне человеческом как «сыне божьем», жизненные связи между человеком и богом – отсюда: «вторая ипостась божья» – то есть устранили как раз сыновнее отношение всякого человека, даже самого распоследнего, к богу;

6. спасение через веру, то есть то, что нет иного пути к сыновству у бога, кроме той жизненной практики, которой обучал Иисус, – перетолковано в веру, согласно которой надобно верить в чудесное искупление грехов, не самим человеком добытое, а смертью Христа подстроенное и обеспеченное:

благодаря чему пришлось по-новому истолковать и образ «распятого Христа». Эта его смерть сама по себе отнюдь не была главным событием, ... это был просто еще один знак, как надо вести себя с мирскими властями и законами – не противиться. ... В этом и был пример.

171. К психологии Павла. – Факт – это смерть Иисуса. Остается его истолковать... Что истолкование может быть как истинным, так и ложным, подобным людям даже в голову не приходит: просто в один прекрасный день их осеняет идея – «эта смерть могла означать то-то и то-то» – и в ту же секунду она для них именно это и означает! Доказательством же гипотезы служит тот порыв одухотворения, которым она наделяет своего создателя.

«Доказательство силы»: то бишь мысль доказывается своим воздействием, – («по испугу его», как наивно говорит Библия); что вдохновляет – должно быть истинным; за что проливается кровь – должно быть истинным.

Здесь происходит всегда одно и то же: внезапное чувство могущества, которое пробуждает в человеке осеняющая его мысль, приписывается этой мысли как ее качество: – а поскольку иного способа почтить мысль, кроме как поименовав ее истинной, люди обычно не знают, то первым же определением, которое она получает в знак отличия, оказывается слово «истин-

ная»... Иначе разве могла бы она так подействовать? Мысль внушена нам некоей силой – будь она неправдой, она бы не могла так подействовать... То есть мысль воспринимается как вдохновение извне, а воздействие, которое она оказывает, несет в себе что-то от неодолимости демонического влияния.

Получается, что мысль, которой этакий декадент не в силах оказать сопротивление, которой он полностью подпадает, тем самым «доказана» как истинная!!!

Все эти святые эпилептики и очевидцы всевозможных галлюцинаций не обладали тысячной долей той честной самокритики, с которой нынче любой филолог подходит к тексту или проверяет историческое событие на предмет его достоверности... все они, в сравнении с нами, просто моральные кретины...

172. Когда главное не в том, истинно что-либо или ложно, а только в том, как оно воздействует – это признак абсолютного отсутствия умственной порядочности. Тут все годится – ложь, клевета, самые бесстыдные натяжки, – лишь бы оно помогало достигнуть того градуса разгоряченности, когда люди начинают «верить».

Формальная школа средств совращения в веру: принципиальное презрение любых сфер, откуда может возникнуть противоречие (как то разума, философии и мудрости, недоверия, предусмотрительности); бесстыдное восхваление и возвеличение учения с постоянными ссылками на то, что его ниспослал бог и только бог, – что апостол ничего не значит, – что тут ничто не подлежит критике, только вере, только предположению; что воспринять это спасительное учение есть чрезвычайная и величайшая на свете милость и благо; что воспринимать это учение следует только в состоянии глубочайшей благодарности и покорности...

Постоянные спекуляции на враждебности, которую все низшие питают ко всему, что в чести и почете: им это учение подсовывают как учение против всех сильных и мудрых мира сего, вот что к нему и соблазняет. Оно убеждает отверженных и обделенных всех мастей; оно сулит блаженство, предпочтение, привилегии самым униженным и неказистым; оно возбуждает в бедных, убогих, глупых головах вздорное самомнение, будто бы они и есть пуп и соль земли.

Все это, еще раз повторяю, заслуживает самого глубокого презрения: мы избавим себя от критики учения, достаточно взглянуть на средства, которыми оно пользуется, дабы понять, с чем мы тут имеем дело. Оно спекулировало на добродетели, оно самым бессовестным образом узурпировало всю притягательную силу добродетели... оно спекулировало на силе парадокса, на потребности древних цивилизаций в грубости и бессмыслице; оно обескураживало, возмущало, подстрекало к гонениям и злодействам.

Это все расчетливая, продуманная низость точно того же разбора, что и низость иудейских священников, когда те устанавливали свою власть и создавали иудейскую церковь...

Следует различать: 1. то тепло «любви» как страсти (что зиждется на основах жаркой чувственности) 2. и абсолютное неблагородство христианства – его тягу к постоянным преувеличениям, его болтливость – недостаток холодного ума и иронии – отсутствие воинского во всех инстинктах – предубеждение священников против мужской гордости, против чувственности, наук, искусств.

173. Павел: он ищет силу против правящего иудейства, – но движение его слишком слабо... Переоценка понятия «иудей» – понятие «раса» отодвигается в сторону; но это означало отрицать основы, фундамент. «Мученик», «фанатик» – значение всякой сильной веры...

Христианство – это форма распада старого мира в глубочайшем его бессилии, при котором самые болезненные и нездоровые слои и потребности всплывают наверх.

Как следствие на первый план должны были выступить иные инстинкты, дабы образовать единство, способную к обороне силу – короче говоря, было необходимо нечто вроде чрезвычайного положения, подобного тому, из которого почерпнули свой инстинкт самосохранения иудеи...

Неоценимую услугу оказали тут гонения на христиан – общность чувства опасности, массовые обращения в веру как единственное средство положить конец гонениями на отдельных лиц (он /Павел/, следовательно, и к самому понятию «обращение» относится как можно легче).

174. Христианско-иудейская жизнь: здесь не доминировала враждебность. Лишь грандиозные гонения, видимо, заставили выплеснуться такие страсти – как жар любви, так и пламя ненависти.

Когда видишь самых близких своих павшими жертвой во имя веры, то поневоле станешь агрессивным; своей победой христианство обязано своим гонителям.

Аскетизм не есть специфическая черта христианства – Шопенгауэр тут заблуждался; аскетизм просто вращался в христианство – повсюду, где и без христианства имеется аскетизм.

Ипохондрическое христианство, все эти зверские муки и пытки совести, точно так же есть только продукт определенной почвы, на которой пустили корни христианские ценности – это отнюдь не само христианство. Христианство впитывало в себя всевозможные хвори художнических почв, и упрекнуть его можно разве лишь в том, что оно не умело сопротивляться заразе. Но именно в этом и есть его сущность: христианство – это тип декаданса.

175. Реалией, на которой могло воздвигнуться христианство, была маленькая еврейская семья диаспоры, с ее теплом и нежностью, с ее неслыханной, да возможно, и непонятной для всей римской империи готовностью помочь, вступиться друг за друга, с ее скрытой, рядящейся в одеяния смирения гордостью «избранного народа», с ее сокровеннейшим и без всякой зависти отказом от всего, что наверху, от всякого внешнего блеска и самоценной силы. Распознать в этом силу, понять, что это блаженное состояние может перекидываться и на других, оказаться соблазнительным и заразным и для язычников – в этом и есть гениальность Павла: использовать этот кладезь скрытой энергии, умного счастья для создания «иудейской церкви свободного вероисповедания», использовать весь иудейский опыт и навык общинного самосохранения в условиях иноземного владычества, да и иудейскую пропаганду – именно в этом угадал он свою миссию. Ибо то, что он увидел перед собою, был абсолютно аполитичный и задвинутый на обочину разряд маленьких людей – с их искусством утверждаться и пробиваться в жизни, возвращенном на некотором числе добродетелей, сводившихся к добродетели одного-единственного смысла («Средство сохранения и возвышения определенной разновидности человека»).

Из маленькой иудейской общины берет начало и принцип «любви»: здесь под золой смирения и бедности тлеет более страстная душа – не греческая, не индийская и уж тем паче не германская. Песнь во славу любви, Павлом сочиненная, не имеет в себе ничего христианского, – это иудейское раздувание вечного пламени, семитского по происхождению. Если в психологическом отношении христианство чего-то существенного и достигло, так это повышения температуры души в тех более холодных и благородных расах, которые в ту пору были наверху; это было открытие – что даже самая убогая жизнь может стать богатой и бесценной благодаря такому вот повышению температуры...

Само собой разумеется, что такой переход не мог произойти в отношении господствующих сословий: иудеи и христиане обоюдно отличались дурными манерами, – а сила и страстность души при плохих манерах обычно действуют отталкивающе и вызывают чуть ли не отвращение. (Я эти дурные манеры прямо-таки вижу, когда читаю Новый Завет.) Чтобы почувствовать в этом притягательность, нужно было ощутить сродство униженности и нищеты с говорящим здесь типом низшего народа... Это, кстати, вернейший способ узнать, есть ли у человека хоть толика классического вкуса – проверить, как он относится к Новому Завету (сравни Тацита): кого это чтение не возмутит, кто не испытает при этом искренне и глубоко нечто вроде *foede superstitio*⁷⁸, словно от соприкосновения с чем-то, от чего немедленно хочется

⁷⁸ Омерзительного благоговения (лат.).

отдернуть руку из боязни запачкаться, – тому не ведомо, что есть классическое. «Крест» надо воспринимать, как Гёте.

176. Реакция маленьких людей: высшее чувство могущества дает любовь. – Понять, в какой мере здесь говорит не человек вообще, а только одна разновидность человека. Вот это и следует рассмотреть поближе.

«Мы божественны в любви, мы станем „детьми Божьими“, Бог любит нас и ничего от нас не хочет, кроме любви»; – это означает: всякая мораль, всякое послушание и действие не вызывают такого чувства могущества и свободы, какое дает любовь; – из любви не сделаешь ничего дурного, а сделаешь гораздо больше, чем сделал бы из послушания и добродетели.

Здесь стадное чувство, чувство общности в большом и малом, живое чувство единения воспринято как сумма жизнечувствований – взаимная помощь, забота и польза постоянно вызывают и поддерживают чувство могущества, а видимый успех, выражение радости его подчеркивают; есть тут и гордость – в чувстве общины, обиталища бога, «избранности».

На деле же человек еще раз пережил чувство расщепления личности: на сей раз он поименовал свое чувство любви богом. – Надо помыслить себе пробуждение подобного чувства, ощутить нечто вроде содрогания, услышать обращенные к тебе чужие слова, «Евангелие» – небывалая новизна не позволяет человеку приписать все это просто любви: он полагал, что это сам бог явился пред ним и в нем оживает – «бог приходит к людям», образ «ближнего» трансформируется в бога (поскольку ведь это на него, ближнего, изливается наше чувство любви). Иисус становится этим ближним – точно так же, как он был переосмыслен в божественность, в первопричину нашего чувства могущества.

177. Пребывая в убеждении, что они бесконечно многим обязаны христианству, верующие делают из этого тот вывод, что основатель христианства был персонажем первого ранга... Вывод этот неверен, но это типичный вывод людей почитающих. При объективном взгляде на вещи допустимо предположить, во-первых, что они ошибаются в оценке всего, чем они христианству обязаны: убеждения еще ничего не доказывают относительно того, в чем человек убежден, а в религиях они скорее даже должны вызывать подозрения в обратном... Во-вторых, допустимо предположить, что все, чем человек обязан христианству, следует приписывать не его основателю, а тому готовому образованию, той целокупности, той церкви, которая из христианства возникла. Понятие «основатель» столь многозначно, что само по себе может означать для всего движения просто случайность повода: по мере возрастания церкви возвеличивался и образ ее основателя; но как раз подобная оптика и позволяет заключить, что когда-то этот основатель был чем-то очень неясным и неопределенным – в самом начале... Стоит вспомнить, с какой вольностью Павел трактует, больше того – почти сводит на нет проблемы личности Иисуса: это просто Некто, кто умер и кого потом после его смерти снова видели, некто, кого иудеи вверили смерти... Это просто мотив – а уж музыку к нему создает он сам...

178. Основатель религии вполне может быть незначительным – спичкой, не более того!

179. К психологической проблеме христианства. – Движущей силой остается: вражда, народное возмущение, бунт обиженных жизнью. (С буддизмом дело обстоит иначе: он не рожден из движения возмущения и вражды. Он выступает против этих аффектов, поскольку они побуждают к действию.)

Эта партия мира понимает, что отказ от враждебности в делах и помыслах есть необходимое условие для ее различения и сохранения: именно в этом кроется психологическая трудность, которая помешала понять христианство. Побуждение, которое его создало, вызывает затем принципиальное подавление самого себя.

Только как партия мира и невинности это мятежное движение имеет шансы на успех: оно должно побеждать сугубой мягкостью, елейностью, кротостью, и инстинктивно понимает это.

В этом-то и весь фокус: побуждение, выразителем которого ты являешься, отрицать, осуждать, постоянно выставлять напоказ словом и делом нечто прямо противоположное этому побуждению.

180. Мнимая юность. – Тот, кто в этой связи грезит о наивном и юном народном существовании, которое восстает против старой культуры, – тот обманывается; бытует такое суеверие, будто в самых низких слоях народа, где христианство росло и пускало корни, якобы снова забил более глубокий родник жизни; тот, кто считает христианство выражением новой, восходящей народной юности и укрепления расы, тот ничего не понимает в его психологии. Совсем напротив: это типичная форма декаданса; моральная изнеженность и истерия среди усталого и утратившего цель, болезненного и смешанного населения. Более чем странное общество, собравшееся здесь вокруг этого мастера свращать народ, собственно, прямо-таки просится – все скопом и порознь – в какой-нибудь русский роман: тут все нервные болезни назначили друг другу свидание... полное отсутствие задач, чувство, что в сущности все кончено и не имеет больше никакого смысла, довольство в *dolce far niente*⁷⁹: сила и уверенность в будущем, свойственная иудейскому инстинкту, неимоверность его упрямой воли к существованию и могуществу – все это заложено в его господствующем классе; а те слои, которые выносит наверх молодое христианство, ничем не отмечены так явно, как усталостью инстинкта. Им все надоело – это одно; и они довольны – собой, для себя, в себе – это другое.

181. Христианство как эмансипированное иудейство (в той же мере и подобно тому, как некое локально и расово обусловленное благородство в конце концов от условий своего прежнего существования эмансипируется и направляется на поиски родственных элементов...).

1. как церковь (община) на почве государства, как неполитическое образование;

2. как жизнь, воспитание, практика, искусство жизни;

3. как религия греха (прегрешений против бога как единственного вида прегрешений, как единственной причины страдания вообще), располагающая универсальным средством против греха. Грех бывает только против бога; что свершается против человека, о том человеку не следует ни судить, ни требовать отчета, разве что только именем бога. Точно так же и все заповеди (любовь): все сопряжено с богом, и только волей божьей над человеком вершится. Во всем этом кроется большая мудрость (жизнь в тесноте и большой скученности, как у эскимосов, выносима только на условиях максимального взаимного добродушия и снисходительности: иудейско-христианская догма обратилась против греха на благо «грешника»).

182. Все, на что притязало иудейское священничество, оно умело подать как божественное установление, как исполнение божьей заповеди... равно как и все, что этому служило. Сохранить Израиль, внедрить мысль, что сама возможность его существования (например, сумма дел – обрезание, жертвенный культ – как центр национального сознания) дана не как природа, но как «бог». – Этот процесс продолжается; внутри иудейства, где необходимость «дел» не воспринимается как таковая (а именно как отделение от всего остального, внешнего), смогла создаться священническая разновидность человеческого характера, которая со священником соотносится примерно так же, как «благородная натура» с аристократом; это бескастовый и в то же время спонтанный священнический настрой души, которая теперь, дабы резко размежеваться со своей противоположностью, придавала значение не «делам», но «умонастроению»...

По сути дела речь опять-таки шла о том, чтобы проложить дорогу определенному складу души: это было подобно народному восстанию внутри священнического народа, – пиетистское движение снизу (грешники, мытари, женщины, больные). Иисус из Назарета был для них знаком, по которому они себя распознавали. И опять-таки, чтобы в себя поверить, им нужно было теологическое чудо причастия: им требовался «сын божий», никак не меньше, дабы создать

⁷⁹ Сладостное ничегонеделанье (*um.*).

себе веру... И точно так же, как священничество подделало всю историю Израиля, так и тут была предпринята попытка переподделать вообще всю историю человечества, дабы христианство предстало в ней наиболее кардинальным событием. Это движение могло возникнуть только на почве иудаизма: главным делом иудаизма было сплести воедино вину и несчастье, а всякую вину свести к вине перед богом; христианство возвело это дело в квадрат.

183. Символизм христианства зиждется на символизме иудейском, который уже успел всю реальность (историю, природу) претворить в святую противоестественность и нереальность... который действительную историю уже видеть не желал,... который естественным успехом уже не интересовался.

184. Иудеи предпринимают попытку выжить после того, как в них утрачиваются две касты – воинов и земледельцев;

они в этом смысле «кастраты» – у них есть священник – и потом сразу низшая каста, чернь...

Поэтому настолько легко доходит у них до перелома, до восстания черни: это и есть исток христианства.

Чтобы знать воина только как своего господина, они внесли в свою религию враждебность против благородных, против всех знатных, гордых, против власти, против господствующих сословий: они пессимисты негодования...

Тем самым они создали новую важную позицию: священник во главе черни – против благородных сословий...

Христианство сделало последний вывод из этого движения: оно и в иудейском священнике все еще чувствовало касту, привилегированность, «благородство» – и оно священника вычеркнуло.

Христианин – это смерд, который отвергает священника... Смерд, который решил, что будет спасать себя сам...

Поэтому французская революция – дочь и продолжение христианства... в ней тот же инстинкт против церкви, против знати, против последних привилегий.

185. «Христианский идеал» выведен на сцену по-иудейски умно. Основные психологические побуждения, «природа» его:

– восстание против господствующей духовной власти;

– попытка сделать добродетели, при которых возможно счастье самых ничтожных, последних людей, непререкаемым идеалом всех ценностей, – и назвать это Богом: инстинкт самосохранения беднейших, самых жизненно-скудных слоев;

– попытка, исходя из идеала, оправдать абсолютное воздержание от войны и сопротивления, – равно как и послушание;

– любовь между людьми как следствие любви к богу.

Главная уловка: все природные *mobilia*⁸⁰ отрицать и обращать в духовно-потустороннее... добродетель и почитание оной присвоить всецело и только для себя, шаг за шагом оспаривая ее у всего нехристианского.

186. Глубочайшее презрение, с которым сохранивший благородство античный мир относился к христианам, имеет те же корни, что и сегодняшняя инстинктивная неприязнь к евреям: это ненависть свободных и знающих себе цену сословий к тем, кто норовит протиснуться, скрывая за пугливой и неуклюжей повадкой непомерное самомнение.

Новый Завет – это евангелие людей абсолютно неблагородного сорта; в их притязаниях на собственную значимость, притом значимость единственно истинную, и вправду есть что-то возмутительное, – даже сегодня.

⁸⁰ Движители (*лат.*).

187. Как мало значит сам предмет! Дух – вот что вносит в него жизнь! Каким недужным, спертым воздухом веет от всех этих возбужденных пустословий о «спасении», любви, «блаженстве», вере, истине, «вечной жизни»! И напротив, стоит взять истинно языческую книгу, допустим, Петрония, – книгу, где, по сути, нет ни единого слова, поступка, желания, суждения, которое по ханжеским христианским меркам не было бы грехом, даже смертным грехом. И однако – какая же благодать в чистоте этого воздуха, в духовном превосходстве этой легкой победительной поступи, этой высвобожденной, избыточной, уверенной в своем будущем силы! Во всем Новом Завете ни одной буффонады: но ведь этим любая книга сама себя загубит!

188. Крайняя низость, с которой осуждается всякая иная жизнь, кроме христианской: им мало просто очернить в мыслях своих противников, нет, они хотят, ни больше ни меньше, оклеветать все, что не есть они сами... С высокомерием святости наилучшим образом уживается низкая и лукавая душонка; свидетельство – первые христиане.

Будущее: они еще заставят всех как следует за это раскошелиться... Это дух самого нечистоплотного разбора, какой только есть. Недаром вся жизнь Христа изображается таким образом, будто он помогает сбыться предсказаниям: он специально действует так, чтобы они сбылись...

189. Лживое истолкование слов, жестов, душевных состояний умирающих: к примеру, страх смерти начисто подменяется страхом перед «загробной жизнью»...

190. И христиане делали это в точности так же, как иудеи: все, что они воспринимали как необходимое условие существования или как важное новшество, они вкладывали в уста своему учителю и приукрашивали этим его жизнь. Точно так же и всю изустную мудрость своих пословиц и поговорок они вложили ему в уста: короче, свою действительную жизнь во всем ее суетном течении они представили как послушание и тем освятили ее для своей пропаганды.

С чего на самом деле все пошло, это хорошо видно у Павла – и это сущая малость. Все остальное – это создание типа святого из того, что у них почиталось святым.

Все «чудесное учение», включая чудо воскресения, есть прямое следствие самовозвеличения общины, которая все, на что была способна сама, в еще большей мере приписывала своему учителю (то есть из него свою силу выводила...).

191. Христиане никогда не практиковали того, что им предписывал Иисус: вся их бесстыжая болтовня об «оправдании верой» и о высшем и первейшем значении веры есть только следствие того, что церковь никогда не имела в себе ни мужества, ни воли присягнуть делам, которых требовал Иисус.

Буддист действует иначе, чем не-буддист; христианин действует как все люди, а христианство у него лишь для церемоний и настроений.

Глубочайшая и презренная изолганность христианства в Европе: мы, действительно, поделом заслуживаем презрения арабов, индусов, китайцев... Только прислушайтесь к речам первого государственного мужа Германии о том, что занимало Европу последние сорок лет... и вы услышите голос придворного проповедника Тартюфа.

192. «Вера» или «дела»? – Но то, что вместе с «делом», вместе с привычкой к определенным делам зачинается и определенная оценка и в конечном счете образ мыслей, это так же естественно, как противоестественно предположить, что из голой оценки могут воследовать «дела». Человеку надобно упражняться – и не в усилении своих ценностных эмоций, а в действовании; сперва надо уметь что-то делать... Христианский дилетантизм Лютера. Вера – главная и спасительная опора. А подоплека тут – глубокая убежденность Лютера и ему подобных в их неспособности к христианским делам, то есть факт личной биографии, задрапированный глубочайшим сомнением в том, не есть ли всякое деяние грех и от лукавого: так что в итоге весь смысл существования сосредотачивается на отдельных, хотя и крайне напряженных, состояниях бездействия (молитва, благоговение и т. д.). – В итоге он даже оказался прав: инстинкты, выражающиеся во всех деяниях Реформации, – из самых жестоких, какие только

есть на свете. Только в абсолютном отвлечении от самих себя, в погружении в прямую свою противоположность, только как иллюзию («веру») они и могли свое существование вынести.

193. «Что делать, чтобы уверовать?» – Абсурдный вопрос. Главный изъян христианства – это воздержание от всего того, что Иисус повелел делать.

Это убогая жизнь, но истолкованная с презрением во взгляде.

194. Вступление в истинную жизнь – ты спасаешь свою личную жизнь от смерти, живя жизнью всеобщей.

195. Христианство превратилось в нечто в корне отличное от Того, что делал и чего хотел его основатель. Это великое антиязыческое движение древности, сформулированное с использованием жизни, учения и «слов» основателя христианства, однако посредством абсолютно произвольной их интерпретации по шаблону диаметрально различных потребностей и в переводе на язык всех уже существующих подземных религий.

Это приход пессимизма, тогда как Иисус хотел принести людям мир и счастье агнцев, и притом пессимизма слабых, попраных, страдальцев, угнетенных.

Их заклятый, смертный враг – это: 1. сила в характере, уме и вкусе; «мирское»; 2. классическое «счастье», благородная легкость и скепсис, негибкая гордость, эксцентрическое распутство и холодная самодостаточность мудреца, греческая утонченность в жесте, слове и форме; и римлянин, и грек им в равной мере – смертный враг.

Попытка антиязычества обосновать и осуществить себя в философии: его чутье к двум смысловым фигурам древней культуры, прежде всего к Платону, этому инстинктивному семиту и антиэллину... Равно как и чутье к стоицизму, который в существенной степени тоже дело семитов («достоинство» как строгость и закон, добродетель как величие, как ответственность за себя, как авторитет, как высший суверенитет личности – все это семитское: стоик – это арабский шейх, только в пеленках греческих понятий).

196. Христианство только возобновляет борьбу, которая уже велась против классического идеала, против благородной религии.

На самом деле все это преобразование есть перевод на язык потребностей и уровень понимания тогдашней религиозной массы – той массы, которая поклонялась Изиде, Митре, Дионису, «великой праматери» и которая требовала от религии: 1. надежды на потустороннюю жизнь; 2. кровавой фантазмагии жертвенного животного – «мистерии»; 3. спасительного деяния, святой легенды; 4. аскетизма, отрицания мира, суеверного «очищения»; 5. иерархии как формы построения общины.

Короче: христианство приспособляется к уже существующему, повсюду нарождающемуся антиязычеству, к культам, которые опроверг Эпикур... точнее, к религиям угнетенной массы, женщин, рабов, незнатных сословий.

В итоге же перед нами следующие недоразумения:

1. бессмертие личности.
2. мнимый иной мир.
3. абсурдность понятий преступления и наказания, поставленных в центр истолкования мира.
4. разбожествление человека вместо его обожествления, разверзание глубочайшей пропасти, которую можно преодолеть только чудом, только в прострации глубочайшего самопрезрения.
5. целый мир порочных представлений и болезненных аффектов вместо простой и полной любви житейской практики, вместо достижимого на земле буддистского счастья...
6. церковный порядок, с клиросом, теологией, культом, святынями; короче, все то, против чего ратовал Иисус из Назарета.
7. чудеса везде и всюду, засилье суеверия: тогда как отличием иудаизма и древнейшего христианства было как раз их неприятие чуда, их относительный рационализм.

197. Психологическая предпосылка: незнание и бескультурье, невежество, напрочь забывшее всякий стыд – достаточно представить себе этих бесстыдных святых, и где – в Афинах:

иудейский инстинкт «избранничества»: они без всяких церемоний присваивают себе все добродетели, а остальной мир считают своей противоположностью – верный знак низости души;

совершенное отсутствие действительных целей, действительных задач, для решения которых требуются иные добродетели, кроме ханжества, – от этой работы их избавило государство; бесстыдный народец все равно делал вид, будто государство здесь совершенно ни при чем.

«Если не станете как дети» – о, как же далеки мы ныне от этой психологической наивности!

198. Основателю христианства пришлось горько поплатиться за то, что он обращался к самым низким слоям иудейского общества и иудейского ума – ибо в итоге они перевоссоздали его по тому образу и подобию, который был доступен их разумению; это же настоящий позор – сфабриковать историю искупительного подвига, персонифицированного бога, персонифицированного спасителя, личное бессмертие и вдобавок сохранить все убожества «личности» и «истории» – из учения, которое отказывает всему личному и историческому в праве на реальность...

Легенда об искупительном подвиге вместо символического сейчас и вечно, повсюду и здесь, чудо вместо психологического символа.

199. Нет ничего менее невинного, нежели Новый Завет. Хорошо известно, на какой почве он взрос. Этот народ, с несгибаемой волей к самому себе, народ, который, давно утратив всякую естественную опору и само свое право на существование, сумел тем не менее выжить, для чего ему пришлось утвердить себя на совершенно противоестественных, чисто умозрительных предпосылках (как избранный народ, как община святых, как народ пророчества, народ-«церковь»): этот народ практиковал *ria fraus*⁸¹ с таким совершенством, с такой степенью «чистой совести», что впредь надо десять раз остеречься, заслышав, как этот народ проповедует мораль. Когда иудеи выступают в тоге невинности, значит, опасность и вправду велика: так что рекомендуется всегда иметь под рукой свой маленький запас рассудка, недоверия, злости, когда читаешь «Новый Завет».

Люди самого низкого происхождения, порою просто сброд, изгои не только хорошего, но вообще всякого общества, достойного так называться, выросшие, не изведав даже запаха культуры, без воспитания, без знаний, не имея даже отдаленного понятия о том, что в духовной сфере может существовать совесть, но – иудеи: инстинктивно умные, со всеми суеверными предпосылками даже из невежества своего создать преимущество и извлечь соблазн.

200. Я рассматриваю христианство как самую роковую ложь соблазна, какая только была на свете, как великую и несвятую ложь: я выдергиваю поросль и выскребаю плесень этого идеала из-под всех и всяческих облицовок, я отвергаю любые позиции в пол- и в три четверти оборота к нему, – я принуждаю только к войне с ним.

Нравственное сознание маленьких людей как мера всех вещей – это самое отвратительное вырождение из всех, какие до сей поры являла культура. И такого рода идеал продолжает висеть над человечеством!

201. Даже при самых скромных притязаниях на интеллектуальную чистоту невозможно, читая «Новый Завет», подавить позывы чего-то вроде невыразимого отвращения: ибо необузданная наглость этого желания самых непосвященных говорить наравне с другими о великих вопросах, настырность их притязаний не только говорить, но и судить об этих вещах превосхо-

⁸¹ Святую ложь (*лат.*).

дит всякую меру. И эта беспардонная легкость, с которой здесь болтают о самых недоступных проблемах (жизнь, мир, бог, смысл жизни) – так, словно это никакие и не проблемы вовсе, а просто обычные вещи, о которых этой мелкой швали все известно!

202. Это была самая роковая разновидность мании величия из всех, какие дотоле встречались на земле: когда это лживое, мелкое, неказистое отродье стало заявлять о своих исключительных притязаниях на слова «Бог», «Страшный суд», «истина», «любовь», «мудрость», «Дух Святой» и с их помощью отмежевываться от остального «мира»; когда такого разбора людишки начинают переиначивать все ценности под себя, словно это они смысл, соль, мерило и значение всего прочего, – тогда остается только одно: понастроить для них сумасшедших домов, и больше ничего не предпринимать. То, что их стали преследовать, было величайшей из античных глупостей: тем самым их приняли слишком всерьез, а значит, и сделали из них нечто серьезное.

Все это бедствие оказалось возможным, во-первых, потому, что сходная разновидность мании величия уже имелась на свете, а именно иудейская: коли уж пропасть между иудеями и христианами-иудеями однажды разверзлась, христиане-иудеи просто вынуждены были ту процедуру самосохранения, которую изобрел иудейский инстинкт, запустить в ход снова и с последней степенью усиления – дабы сохраниться; во-вторых, потому, что, с другой стороны, греческая философия морали все сделала для того, чтобы подготовить и сделать притягательным моральный фанатизм даже среди греков и римлян... Платон, этот великий соединительный мост распада, который первым ошибочно возжелал усмотреть природу в морали, который даже греческих богов своим понятием «добра» обесценил, который уже был заражен иудейской пошлостью (в Египте?).

203. Эти мелкие стадные добродетели ведут к чему угодно, но только не к «вечной жизни»: вывести их на сцену подобным образом, а заодно и себя вместе с ними, было, возможно, и очень умным шагом, но для того, кто не утратил способность смотреть на вещи здраво, такое зрелище все равно остается уморительнейшей из комедий. Невозможно заслужить никакого предпочтения ни на земле, ни на небе, достигнув совершенства в образе мелкого и милого овцеобразия; при этом ты в лучшем случае останешься мелкой, милой и абсурдной овцой с рожками – если, конечно, не лопнешь от непомерного тщеславия и не оскандалишься своими замашками верховного судии.

Невероятная яркость красок, которыми расцвечены здесь все эти малые добродетели, – словно отблеск божественных качеств.

Природная цель и полезность всякой добродетели замалчиваются начисто; добродетель имеет ценность только применительно к божественной заповеди, к божественному образцу, только применительно к потусторонним и духовным благам. (Великолепно: как будто и впрямь речь идет о «спасении души»; хотя это было всего лишь средство «выстоять» – с как можно более красивыми чувствами.)

204. Закон, этот основательно и реалистически сформулированный свод определенных условий сохранения общины, запрещает некоторые действия в определенном направлении, а именно в той мере, в какой они обращены против этой общины; община не запрещает образ мыслей, из которого подобные действия проистекают, – ибо те же самые действия, обращенные в ином направлении, ей необходимы, а именно – против врагов данного людского сообщества. Но тут на сцену выходит моральный идеалист и заявляет: «Бог зрит прямо в сердце: действие само еще ничего не значит; надо вытравить враждебные мысли, из которых оно проистекает...» В нормальных условиях над этим бы только посмеялись; и лишь в исключительных случаях, когда община живет абсолютно вне всякого понуждения вести войны за свое существование, к таким вещам могут хоть как-то прислушаться. И дают ход умонастроению, полезность которого невозможно предугадать.

Так было, например, при появлении Будды, внутри исключительно мирного и к тому же духовно утомленного общества.

Примерно то же самое имело место и с первой христианской (она же иудейская) общиной, предпосылкой к возникновению которой стал абсолютно аполитичный характер иудейского общества. Христианство могло вырасти только на почве иудаизма, то есть внутри народа, который в политическом отношении уже ни на что не притязал и вел своего рода паразитарное существование внутри римского общественного уклада. Христианство пошло еще на один шаг дальше: можно было «оскопить» себя еще сильнее, благо обстоятельства позволяли.

Говорить «любите врагов ваших» можно, лишь изгоняя из морали природу, ибо после этого природное «люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего» в законе (и инстинкте) теряет всякий смысл; значит, тогда и любовь к ближнему нужно обосновать по-новому (как своего рода любовь к богу). То есть повсюду подсовывается бог и изымается «полезность»: повсюду отрицается действительный исток всякой морали, а уважение к природе, суть которого именно в признании природного характера морали, изничтожается под корень.

Откуда же берется соблазн подобного оскопленного идеала человечества? Почему он не претит нашему вкусу, как претит ему, допустим, представление о кастрате?.. Как раз в этом сравнении и кроется разгадка: голос кастрата нам ведь тоже не претит – невзирая на то ужасное увечье, которым этот голос обусловлен: ибо голос стал пленительней, слаще... За счет того, что у добродетели вырезали все «мужские члены», ее голос приобрел женственное звучание, которого в нем раньше не было.

С другой стороны, стоит подумать о той ужасной суровости, опасности и неисповедимости, которую привносит в жизнь наличие мужских добродетелей, – о жизни, какую еще в наши дни ведет корсиканец или араб-язычник (и которая до мелочей схожа с жизнью корсиканца: даже песни эти могли бы сочинить корсиканцы), – и сразу понимаешь, до какой степени как раз самый грубый представитель человеческого рода может быть потрясен и захвачен вожденным звучанием этого «добра» и этой «чистоты»... Пастушеский напев... идиллия... «добрый человек»: все эти образы сильнее всего действуют на воображение в те времена, когда по улицам разгуливает трагедия.

* * *

Но тем самым мы раскусили, до какой степени и сам «идеалист» (идеал-кастрат) происходит из совершенно определенной действительности и отнюдь не является просто наивным фантастом... Ибо он-то как раз приходит к познанию того, что для нужной ему реальности столь грубое предписание запрета на определенные действия не имеет никакого смысла (потому что инстинкт именно к таким действиям в нем ослаблен длительным отсутствием упражнений, отсутствием понуждения к упражнению). И тогда этот кастратист формулирует сумму новых условий существования и самосохранения для людей совершенно определенного вида: в этом он реалист. Средства для его самостатуирования те же самые, что и для более древних леги-слатур: апелляция ко всем и всяческим авторитетам, к «богу», использование понятия «вины и наказания», – то есть он пускает в ход весь инструментарий старого идеала, только в новом истолковании, – вину, например, представляет делом более сокроуенным, внутренним (допустим, в виде угрызений совести).

На практике подобная разновидность человека погибает, как только перестают наличествовать исключительные условия его существования – своего рода Таити, островное счастье, каким и была жизнь малоприметных евреев в провинции. Их единственный природный противник – это почва, из которой они произросли: против нее им приходится бороться, ради этой борьбы им приходится снова возвращать в себе аффекты нападения и обороны; их противники – приверженцы старого идеала (эта разновидность вражды великолепно представлена

отношением Павла к иудейству, Лютера – к священническому аскетическому идеалу). Самую мягкую форму этого соперничества, безусловно, явили первые буддисты: пожалуй, ни на что не тратилось больше труда, чем на их стремление обескровить и ослабить враждебные чувства. Борьба против чувства вражды, похоже, становится чуть ли не первейшей задачей буддиста: лишь поборов это чувство, можно обрести мир в душе. Вызволиться – но без мстительной злобы: это, впрочем, предполагает удивительно размягченную и подслащенную разновидность человечности – святость...

* * *

Хитрость морального кастратизма. – Как вести войну против мужских аффектов и оценок? Средств физического воздействия в распоряжении нет, значит, можно вести только войну хитростью, колдовством, ложью, – короче, войну «умственную».

Рецепт первый: присвоить добродетель всецело и только своему идеалу; старый идеал отрицать, низводя его до противоположности всему идеальному. Здесь не обойтись без искусства клеветы.

Рецепт второй: постулировать свой тип мерилom вообще всего; проецировать его на вещи, на тень вещей и их судьбу, на подоплеку судьбы – сделать его богом.

Рецепт третий: представить противников своего идеала противниками бога, измыслить себе право на великий пафос, на власть, на проклятье и благословение.

Рецепт четвертый: все невзгоды, всю жуть, весь ужас и роковую бедственность существования выводить из несогласия, сопротивления своему идеалу; всякая беда ниспосылается как наказание – даже и на приверженцев (за исключением тех случаев, когда это испытание и т. д.).

Рецепт пятый: зайти настолько далеко, что даже саму природу разбожествить как противоположность собственному идеалу – рассматривать столь длительное пребывание в природном мире как великое испытание терпения, как своего рода мученичество; упражняться в *dédaïn*⁸² ужимок и манер в отношении ко всем «естественным вещам».

Рецепт шестой: победа противоприроды, идеального кастратизма, победа мира чистоты, добра, безгреховности, блаженства проецируется в будущее как конец, финал, великая надежда, как «приход царства божьего».

– Надеюсь, над головокружительным взлетом одного мелкого человеческого подвида на высоту абсолютного мерилa всех вещей мы пока что еще можем посмеяться?..

205. Мне безусловно не нравится ни в этом Иисусе из Назарета, ни, скажем, в его апостоле Павле то, что они с таким упорством вбивали в головы маленьким людям, будто их скромные добродетели и вправду чего-то стоят. За это дорого пришлось расплачиваться – ибо в итоге куда более ценные качества добродетели и человека эти мелкие людишки ославили, они натравили друг на друга достоинство благородной души и угрызения ее совести, они сбили с верного курса все смелые, широкие, удалые, эксцессивные склонности сильной души, ввели их в заблуждение вплоть до саморазрушения.

206. В «Новом Завете», в особенности в Евангелиях, я слышу речения отнюдь не божественного: скорее, напротив, здесь в косвенной форме звучит самая низменная, самой яростная клевета и жажда уничтожения, – то есть одна из самых подлых форм ненависти.

– Отсутствует всякое знание свойств высшей природы. – Беззастенчивое злоупотребление запанибратством во всех видах; весь запас пословиц использован и нагло присвоен; так ли уж было нужно, чтобы Бог приходил, дабы сказать тому мытарю и т. д.

⁸² Пренебрежительность (франц.).

Нет ничего более расхожего, чем эта борьба с фарисеями при помощи абсурдных и непрактичных моральных мнимостей – на подобные *tour de force*⁸³ народ всегда был падок. Упрек в «лицемерии»! Из этих-то уст! Нет ничего более расхожего, чем подобное обращение с противником, – это коварнейший признак либо благородства, либо как раз его отсутствия.

207. Исконное христианство – это ликвидация государства: христианство возбраняет присягу, военную службу, суды, самооборону и оборону какой бы то ни было целокупности, различия между соплеменниками и чужеземцами; запрещает и иерархию сословий.

Пример Христа: он не противится тем, кто причиняет ему зло; он не защищается; больше того – «подставьте левую щеку». (На вопрос «Ты ли Христос?» он отвечает: «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных»). Он запрещает ученикам своим оборонять его; он специально подчеркивает, что мог бы получить помощь, но не хочет.

Христианство – это также и ликвидация общества: оно отдает предпочтение всему, что обществом отторгнуто, оно возрастает из среды изгоев и преступников, отверженных и прокаженных всех мастей, «грешников», «мытарей» и проституток, из самого темного люда («рыбаки»); оно злобно чурается богатых, ученых, благородных, добродетельных, «корректных»...

208. Война против знатных и власть имущих, как она ведется в «Новом Завете», подобна той, какую ведет Рейнеке-лис, и ведется теми же средствами – только неизменно со священнической елейностью и с решительным нежеланием признавать собственную хитрость.

209. Евангелие: весть, что всем низшим и бедным открыт доступ к счастью, – что ничего и делать не надо, кроме как избавиться от учреждений, традиций, опеки высших сословий: в этом смысле приход христианства есть не что иное, как приход типичного социалистического учения.

Собственность, честный промысел, отчизна, сословия и ранг, суды, полиция, государство, церковь, образование, искусство, военное дело – все это суть многочисленные препоны счастью, средостения, дьявольские козни, коим Евангелие сулит суровый суд – и все это точно так же типично и для социалистического учения.

В подоплке тут возмущение, взрыв накопившегося недовольства против «господ», радостное предвкушение того, сколько счастья может крыться уже в одном только восчувствовании своей свободы после столь долгого гнета...

В большинстве случаев – символ того, что с нижними слоями общества обходились слишком человечно, что они уже ощутили на кончике языка запретный для них вкус счастья... Не голод вызывает революции, а тот аппетит, что приходит к народу во время еды...

210. Стоит хотя бы раз прочесть «Новый Завет» как книгу совратительную: добродетель здесь попросту конфискуется, в инстинктивной надежде на то, что с нею вместе можно взять в полон и общественное мнение, – причем самая скромная добродетель, которая признает только идеальную стадность и боле ничего (кроме, разумеется, пастуха): мелкая, елейная, доброжелательная, услужливая, томно-восторженная добродетель, не имеющая никаких притязаний вовне, – намеренно от «мира» отмежевывающаяся.

Это самое вздорное и темное заблуждение – полагать, будто судьбы человечества вершатся так, что община находится по одну сторону и воплощает в себе все праведное, а мир по другую и воплощает все неверное, порочное и вечно-проклятое. Самая вздорная и темная ненависть против всего, что есть власть – но ни в коем случае к ней не прикасаясь! Своего рода внутреннее высвобождение, которое, однако, внешне все оставляет по-старому. (Услужливость и рабство; из всего уметь сделать средство служения богу и добродетели.)

⁸³ «Геройства» (франц.).

211. Христианство возможно как проявление наиболее приватной формы существования; оно предполагает тесный круг укромного и совершенно аполитичного общества; в идеале это тайное религиозное собрание. Напротив, «христианское государство», «христианская политика» – это наглое бесстыдство, ложь, нечто вроде христианского главнокомандования, когда «царя небесного воинства» почитают как начальника Генерального штаба. Да и папство тоже никогда не было в состоянии проводить христианскую политику...; а когда политикой занимаются реформаторы, как Лютер, то надо знать: они такие же приверженцы Макиавелли, как любой тиран или аморальный человек.

212. Христианство и сейчас еще возможно в любую секунду... Оно не связано ни одной из тех бесстыдных догм, которые украсили себя его именем: ему не нужно ни учение о персонифицированном боге, ни о грехе, ни о бессмертии, ни о спасении, ни о вере, ему вообще не нужна никакая метафизика, а еще меньше аскетизм, а еще меньше христианское «естествознание»... Христианство – это практика, а не вероучение. Оно говорит нам о том, как нам действовать, а не как нам верить.

Тот, кто сегодня сказал бы: «не хочу быть солдатом», «мне нет дела до судов», «я не пользуюсь услугами полиции», «я не желаю делать ничего такого, что нарушит мир и покой внутри меня – а если мне придется из-за этого пострадать, ничто не сохранит во мне мир и покой лучше, чем мое страдание» – тот был бы христианином...

213. К истории христианства. – Бесперывное изменение среды: применяясь к нему, христианство бесперывно перемещает свои точки опоры... поощрение низких и бедных сословий... развитие богаделен... тип «христианина» шаг за шагом снова принимает все то, что он изначально отрицал (в отрицании чего он и заключался). Христианин становится гражданином, солдатом, субъектом и объектом судопроизводства, рабочим, торговцем, ученым, теологом, священником, философом, помещиком, художником, патриотом, политиком, «правителем»... он возобновляет все те деяния, которые отвергал и порицал (самооборона, признание судов, наказания, клятвы, различие между разными народами, высокомерие, гнев...). Вся жизнь христианина в конечном счете превратилась именно в ту жизнь, от которой Христос в своих проповедях призывал отрешиться...

Церковь в той же мере воплощает собой триумф антихристианства, что и современное государство, современный национализм... Церковь – это варварское поругание христианства.

214. Возобладали в христианстве: иудаизм (Павел); платонизм (Августин); культ мистерий (учение о спасении, символ «креста»); аскетизм (враждебность против «природы», «разума», «чувств», – Восток...).

215. Христианство как разъестествование стадной морали – результат абсолютного непонимания и самоослепления. Демократизация есть более естественное проявление этой морали, гораздо менее лживое.

Факт: угнетенные, низшие, вся эта огромная масса рабов и полурабов хотят получить власть.

Первая ступень: они освобождаются, – они вызволяются, сперва мысленно, они распознают друг друга среди себе подобных, они начинают верховодить.

Вторая ступень: они вступают в борьбу, они хотят признания, равных прав, «справедливости».

Третья ступень: они хотят преимуществ (они перетягивают на свою сторону представителей власти).

Четвертая ступень: они хотят иметь власть только для себя, и они ее заполучают...

В христианстве следует различать три элемента: а) угнетенные всех видов, б) посредственности всех видов, в) неудовлетворенные и больные всех видов. Силами первого элемента христианство борется против политической знати и ее идеала; силами второго элемента – против людей исключительных и привилегированных (в умственном, чувственном и всяком ином

отношении); силами третьего элемента оно борется против природного инстинкта всех здоровых и счастливых людей.

Когда оно добьется победы, второй элемент выйдет на первый план; ибо тогда христианство уже склонит на свою сторону всех здоровых и счастливых (в качестве бойцов за христианское дело), равно как и власть имущих (как заинтересованных ввиду подавляющего превосходства толпы), – и вот тогда окончательно возобладает стадный инстинкт, то бишь во всех отношениях бесценная посредственная натура, которая высшую санкцию получает именно благодаря христианству. Эта посредственная натура в конце концов до такой степени начинает себя уважать (и до такой степени осмелевает), что уже помышляет о доминировании и в политическом смысле...

– Демократия – это объективное христианство: своего рода «возврат к природе», но только после того, как противоположная система ценностей оказалась преодоленной благодаря своей сугубой противоестественности. – Следствие: аристократический идеал отныне все больше лишается естественности («высший человек», «благородный», «художник», «страсть», «познание» и т. д.); романтизм как культ исключительности, гения и т. д.

216. Когда и «господа» могут стать христианами. – Это заложено в инстинкте сообщества (племя, род, стадо, община): воспринимать состояния и влечения, которым оно обязано своим сохранением, как сами по себе ценные – например, послушание, взаимность, осторожность, умеренность, сострадание, – и тем самым, следовательно, все, что этому препятствует или противоречит, подавлять и сводить на нет.

Точно так же в инстинкте господствующих (неважно, людей или сословий) заложено стремление выделять и поощрять добродетели, благодаря которым подданные сохраняют преданность и покорность (состояния и аффекты, которые могут быть сколь угодно чужды и претить их собственным чувствам).

Стадный инстинкт и инстинкт господствующих в поощрении и хвале некоторого числа добродетелей совпадают – но по разным причинам: первый из эгоизма непосредственного, второй из эгоизма опосредованного.

Подчинение господствующих рас христианству в существенной мере есть следствие убеждения, что христианство – религия стадная, что оно учит послушанию, – короче, что христианами легче править, чем нехристианами. Этим посулом римский папа и сегодня еще рекомендует китайскому императору пропаганду христианства.

Вдобавок к этому соблазнительная сила христианского идеала сильнее всего действует, пожалуй, на такие натуры, которые любят опасность, приключения и препоны, которые любят все, что связано с риском даже для их жизни, но с таким риском, при котором можно ощутить чувство абсолютного могущества. Достаточно вспомнить святую Терезу в обрамлении героического энтузиазма ее братьев: христианство предстает здесь как форма необузданного порыва воли, как добровольное испытание силы воли, как героическое донкихотство...

3. Христианский идеал

217. Война против христианского идеала, против учения о «блаженстве» и «спасении души» как главной жизненной цели, против превознесения бесхитростных людишек, чистых сердец, страдальцев, неудачников и т. д.

Где и когда хоть один сколько-нибудь стоящий человек пусть даже отдаленно напоминал этот христианский идеал? По крайней мере на непредвзятый взгляд, какой должен быть у психолога и вообще всякого проникательного человека! – Достаточно перелистать всех героев у Плутарха.

218. Наше преимущество: мы живем в век сопоставлений, мы можем проверять и сличать так и столько, сколько и как никогда еще не проверяли и не сличали; мы есть самосознание истории вообще... Мы наслаждаемся иначе, мы страдаем иначе: сопоставление всего неимоверно разнообразного есть наинасущнейшая деятельность наших инстинктов... Мы понимаем все, проживаем все, ничто в прошлом не вызывает в нас враждебного чувства. Пусть даже для нас это может плохо кончиться – наше доброжелательное и почти ласковое любопытство бесстрашно пускается навстречу самым опасным вещам...

«Все идет хорошо» – нам стоит неимоверного труда на это возразить... Мы страдаем, когда вынуждены дойти до такой степени неинтеллигентности, как выступление против чего-то... В сущности мы, ученые, сегодня лучше всех следуем заветам Христа.

219. Ирония в отношении тех, кто полагает, будто христианство преодолено достижениями современного естествознания. Система христианских ценностей тем самым абсолютно не преодолена. «Христос на кресте» все еще – до сих пор – самый возвышенный символ.

220. Два великих нигилистических движения: а) буддизм; б) христианство. Последнее лишь сейчас более или менее достигло тех состояний культуры, при которых оно способно исполнить свое исконное назначение – уровня, который ему подобаает, среды, в которой оно может явить себя в чистоте...

221. Мы снова восстановили христианский идеал; осталось только определить его ценность.

1. Какие ценности этим идеалом отрицаются – что содержит в себе противоположный идеал? – Гордость, пафос дистанции, большую ответственность, отвагу, великолепную витальность, инстинкты покорителя и воина, обожествление страсти, мести, хитрости, гнева, вождения, приключения, тяги к познанию...; отрицается благородный идеал – красота, мудрость, великолепие и опасность человеческого типа: целеполагающий, «будущностный» человек (здесь христианство обнаруживает себя как продолжение и следствие иудаизма).

2. Осуществим ли он? – Да, но в определенных климатических условиях... наподобие индийского. Ибо здесь отсутствует труд, работа... – он упраздняет народ, государство, культурную общность, правосудие, он отвергает образование, знание, воспитание хороших манер, промыслы и ремесла, торговлю... он сводит на нет все, что составляет пользу и ценность человека – он посредством идиосинкразии чувств человека замыкает и приканчивает: аполитичный, вненациональный, не способный ни к защите, ни к нападению, такой человек возможен только внутри строжайшим образом упорядоченной государственной и общественной жизни, которую эти трутни-святоши повсюду и насаждают – за всеобщий счет...

3. Остается, как следствие, только воля к уладам – и ни к чему больше! «Блаженство» оказывается самодостаточной аксиомой, не требующей ни обоснований, ни оправданий, а все остальное (по принципу: живи и жить давай другим) – только средством к этой цели...

Но это очень низкий уровень мысли: страха перед болью, перед всеобщим загрязнением, перед запустением и распадом уже достаточно для того, чтобы все это отбросить... Это скудный образ мышления... признак изможденной расы... Не следует обманываться («Станьте

как дети...») – родственные натуры: Франциск Ассизский (невротик, эпилептик, визионер, как Иисус).

222. Высший человек отличается от низшего бесстрашием и умением бросить вызов несчастью; это признак деградации, когда начинают главенствовать эвдемонистические критерии оценки (физиологическое истощение, оскудение воли). Христианство с его установкой на «блаженство» – это типичный образ мышления страдательной и скудной человеческой породы. Полная сила устремлена к тому, чтобы творить, страдать и погибнуть – ей не по нраву убогое христианское святошество и жреческие ужимки.

223. Бедность, смирение и целомудрие – опасные и порочащие человека идеалы, однако, подобно ядам, вполне полезное снадобье при определенных заболеваниях, как, например, во времена Римской империи.

Все идеалы опасны, поскольку они унижают и клеймят презрением действительное; все они – яды, но как временное снадобье необходимы.

224. Бог создал человека счастливым, праздным, невинным и бессмертным; наша действительная жизнь есть ложное, заблудшее, грешное существование, существование-кара. Страдание, борьба, труд, смерть расцениваются как возражения против жизни, как нечто сугубо временное, противоестественное, ставящее саму жизнь под сомнение; как нечто, против чего требуются – и имеются! – спасительные снадобья.

Человечество – от Адама и до наших дней – пребывало в ненормальном состоянии: сам бог в расплату за вину Адама пожертвовал своим сыном, дабы этому ненормальному состоянию положить конец; естественный ход и характер жизни – это проклятье; тому, кто в него поверит, Христос возвратит нормальное состояние – сделает его счастливым, праздным и невинным. – Но земля не стала плодоносить сама собой, без участия человеческого труда; женщины по-прежнему рожают детей отнюдь не без боли, да и болезни тоже не исчезли: самые набожные живут в этом мире ничуть не лучше распоследних безбожников. И только то, что человек избавляется от смерти и греха, – то есть утверждения, не поддающиеся никакому контролю, – церковь внедряла с тем большей уверенностью. «Он избавлен от греха» – не делами своими, не суровыми борениями, а просто подвигом душеспасительным искуplen – следовательно, совершенен, невинен, достоин рая.

Истинная жизнь – только вера (то есть самообман, сумасшествие). Все действительное существование, полное борьбы и соперничества, света и тьмы, – это существование ложное, плохое; задача состоит в том, чтобы от него спастись, избавиться.

«Невинный, праздный, бессмертный, счастливый человек» – именно эту концепцию «высшей желательности» и следует подвергнуть критике прежде всего. Почему, спрашивается, вина, труд, смерть, страдания (и, если уж по-христиански рассуждать, познание) – противоречат высшей желательности? Тухлые христианские понятия – «блаженство», «невинность», «бессмертие»...

225. Порочно эксцентрическое понятие «святости» – в нем нельзя разделить «человека» и «бога». Порочно понятие «чуда» – этой сферы попросту не существует, – единственная, которую еще как-то можно принять во внимание, это сфера «духовная» (то есть символически-психологическая) – как декаданс, как приложение к «эпикурейству» – кстати, парадиз, рай, в греческом понятии также и «сад Эпикура».

В такой жизни отсутствует какая бы то ни было задача – эта жизнь ничего не хочет... разновидность «эпикурейских богов». Отсутствует какая бы то ни было причина ставить себе цели – детей заводить... все достигнуто и так.

226. Они презирали тело; они не принимали его в расчет; больше того – они относились к нему, как к врагу. Они сумасбродно верили, будто «прекрасную душу» можно носить в том трупном уродстве, которое они именовали телом... А чтобы и других заставить в это поверить, им понадобилось истолковать понятие «прекрасная душа» по-новому, переиначить и исказить

его естественную наполненность, покуда в конце концов оно не превратилось в бледное, болезненное, идиотически-восторженное существо, каковое и стало восприниматься как совершенство, да еще «ангельское», как преображение, как высший человек.

227. Полное неведение в вопросах психологии – у христианина нет нервной системы; презрительное нежелание замечать требования тела, само открытие тела; предполагается, что высшей природе человека так и подобает к телу относиться, что душе это всенепременно и только во благо – подчистую и без остатка сводить все совокупные чувствования тела к моральным ценностям; даже болезнь мыслится при этом как нечто, обусловленное моралью, как кара или как испытание, а то еще как душеспасительное состояние, в котором человек становится более совершенным, чем он мог бы быть, оставаясь здоровым (мысль Паскаля) – иногда добровольное навлечение на себя болезни.

228. Что же тогда такое эта ожесточенная борьба христианина «супротив природы»? Мы ведь не дадим обмануть себя пустыми словами и рассуждениями! Просто это его природе претит то, что на самом деле и есть природа. У большинства страх, кое у кого – отвращение, еще у кого-то просто некая духовность, любовь к идеалу без плоти и вожделий, а у самых возвышенных – тяга к этакому «чистому экстракту природы», ему-то они и норовят уподобиться. Само собой понятно, что самоуничужение вместо чувства собственного достоинства, пугливая настороженность перед лицом влечений, отход от насущных повседневных обязанностей (благодаря чему, опять-таки, создается чувство собственного высокого ранга), возбуждение себя на непрестанную борьбу за немислимые вещи, привычка к беспредметному испусканию чувств, – все это ведет к созданию определенного человеческого типа: в нем преобладает раздражительность хиреющего под спудом тела, но эта нервозность и вдохновляющие ее поводы истолковываются совершенно иначе. Вкус подобного рода натур падок, во-первых, 1. на изощренное; 2. на цветисто-загадочное; 3. на крайности в чувствах. – Свои естественные склонности они тем не менее удовлетворяют, но интерпретируя их в новой форме, например, как «оправдание перед богом», «чувство душеспасительной благодати» (всякое неодолимо приятное чувство – гордость, наслаждение и т. д. – интерпретируется именно так). Общая проблема: что станется с человеком, который все естественное в себе опорочивает, все себе практически возбраняет и загоняет под спуд? В действительности же христианин являет собой образчик утрированного самообладания: чтобы обуздать свои вожделия, он, похоже, считает необходимым либо вовсе их изничтожить, либо пригвоздить к кресту.

229. Долгую череду тысячелетий человек физиологически себя не знал – он и сегодня еще себя не знает. Знание того, например, факта, что у человека есть «нервная система» (а вовсе никакая не «душа»), до сих пор остается уделом лишь немногих самых осведомленных. Но человек даже и не подозревает себя в том, что он чего-то не знает; воистину надо быть очень гуманным, чтобы сказать: «я этого не знаю», чтобы позволить себе роскошь невежества.

Если, допустим, он страдает, или, наоборот, в прекрасном расположении духа, он ничтоже сумняшеся найдет тому причину, не слишком долго затрудняясь поисками... В действительности он эту причину найти не может, ибо он даже и не подозревает, где ее искать... Что тогда? А тогда он следствия своего состояния примет за его причину, например, какое-нибудь дело, предпринятое в хорошем настроении (по сути-то потому только и предпринятое, что хорошее настроение придало ему духу), покажется ему, гляди-ка, причиной этого хорошего настроения... Между тем как самом-то деле и эта удача, как и хорошее настроение, были обусловлены благоприятной координацией физиологических сил и систем.

Или, напротив, он чувствует себя скверно: и, как следствие, не может управиться с какой-то заботой, с сомнениями, с недовольством собой... Но на самом-то деле человек при этом всерьез полагает, что его плохое самочувствие есть следствие его сомнений, его «греха», его «самокритики».

Но вот возвращается состояние восстановления сил – часто после глубокого утомления и протрации. «Как это получилось, что я чувствую себя так свободно, так раскованно? Это просто чудо, только бог мог такое совершить». – И вывод: «он мне простил мой грех»...

Отсюда возникает практика: чтобы вызвать в себе чувства греха и покаянной подавленности, надо привести в болезненное и нервное состояние свое тело. Методика этих действий известна. Как и следует ожидать, человек не усматривает каузальную логику факта – в итоге мы получаем религиозное обоснование умерщвления плоти, оно предстает как самоцель, тогда как на самом деле оказывается лишь средством для достижения того болезненного несварения души, которое мы принимаем за раскаяние («идея фикс» греха, гипнотизирование несущки очерчиванием вокруг нее круга «греха»).

Подобные надругательства над собственным телом порождают почву для многообразных «чувств вины», то есть некоего всеобщего недуга, который требует объяснения...

С другой стороны, точно так же возникает и методика «спасения»: сперва мы провоцировали неистовство чувства молитвами, движениями, жестикуляцией, клятвами, – теперь на смену ему приходит изнеможение, часто очень тяжелое, нередко и в форме эпилепсии. А за этим состоянием глубокой вялости и разбитости наступает проблеск выздоровления – или, в религиозных понятиях, «спасение».

230. В прежние времена подобные состояния и последствия физиологического изнеурения, поскольку они чреватые вещами внезапными, ужасными, необъяснимыми и непредсказуемыми, почитались больше, чем здоровые состояния и их последствия. Люди боялись, предполагали здесь воздействие высших сил. Сон и сновидения, тень, ночь, природный страх сделали ответственными за возникновение двоимирия – а надо было прежде всего присмотреться к симптомам физиологического истощения. Древние религии своими обрядами умели специально подводить верующих к состоянию истощения, когда он с неизбежностью начинал переживать подобные вещи... Людям казалось, что они вступают при этом в сферы высшего порядка, где все перестает быть известным. – Видимость высшей силы...

231. Сон как следствие всякого утомления, утомление как следствие всякого чрезмерного возбуждения...

Потребность в сне, обожествление и обожание самого понятия «сон» во всех пессимистических религиях и философиях.

Утомление в данном случае – это утомление расы; сон, с психологической точки зрения, есть лишь выражение необходимости в более глубоком и продолжительном отдыхе... На самом же деле это смерть обольщает в образе своего брата – сна...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.